

Начало прозы 1936 года. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://pasternakboris.ru/> Приятного чтения!

Начало прозы 1936 года. Борис Леонидович Пастернак

1. Уезд в тылу

Помню вечер, он как сейчас предо мною. Это было на мельнице тестя. Днем я ездил по его делам верхом в город.

Я выехал рано. Тоня с Шурой еще спали, когда я на цыпочках выбрался от них на свет кончавшейся ночи. Кругом по колена в траве и комарином плаче стояли березы, всматриваясь куда-то в одну точку, откуда близилась осень. Я шел в ту же сторону.

Там за оврагом был двор с домом, где мы жили раньше и откуда незадолго перед тем перебрались в лесную сторожку, чтобы освободить место для дачницы. Ее ожидали со дня на день. Среди дел, предстоявших мне в городе, должен я был повидать и ее.

На мне были новые, неразношенные сапоги. Когда я нагнулся, чтобы пересунуть пятку в правое по подбору, в высоте надо мной прошумело что-то тяжелое. Я поднял голову. Две белки пулями лупили друг за дружкой сквозь листву. Там и сям оживали деревья, враскачку перебрасывая их с верхушки на верхушку.

Хотя преследование это прерывалось частыми перелетами по воздуху, но с такой гладкостью, что оставляло впечатленье какой-то беготни по ровному предрассветному небу. А за оврагом гремел ведром, отпирал ворота конюшни и седлал Сороку работник Демид.

Последний раз я был в городе в середине июля. Прошло три недели, и за это время произошли новые перемены к худшему.

По правде сказать, мне трудно было о них судить. Свою безумную покупку Александр Александрович совершил в самом начале войны. В первый наш наезд из Москвы на мельницу, как здесь по старой памяти звали его лесное приобретение, уральское лицо Юрятин уже было заслонено беженцами, австрийскими военнопленными и множеством военных и штатских из обеих столиц, заброшенных сюда все усложнявшимися нуждами военного времени. Он сам уже ничего не представлял собою и только отражал как в зеркале изменения, происходившие в стране и на фронте.

Волны эвакуации докатывались сюда и раньше. Но когда с железнодорожного переезда за Скобянниками я увидел горы оборудования из Прибалтики, сваленные вдоль путей товарной станции под открытым небом, мне подумалось, что пройдут годы, прежде чем кто-нибудь вспомнит об этих этнах, Ревельских трубопрокатных и Перунах, и что не мы, а именно эти груды ржавчины будут когда-нибудь свидетельствовать, чем все это кончится.

Несмотря на ранний час, присутствие у воинского начальника было в полном разгаре. На дворе старший из толпы татар и вотяков объяснял, что деревня плетет корзинки под сернокислотные бутылки для Объединения Малояшвинских и Нижневарыньских, работающих на оборону. В таких случаях крестьян по простым заявкам заводов оставляли на месте целыми волостями. Ошибкой этой партии было то, что они сами проявили жизнь и кому-то показались. Их дело затеряли и теперь, тяготясь скучными поисками, гнали на фронт. Хотя в теплом помещении канцелярии признавали их доводы, на дворе их никто не слушал. Мои бумаги оказались в исправности, и статья о килах и грыжах, по которой гулял Демид, также пока еще не оспаривалась.

За угол от воинского, на Сенной, против собора, был заезжий двор, куда я поставил Сороку, стеснявшую меня в городе за короткостью его расстояний. Был Успенский пост. Больше года не продавали вина в казенных лавках. Но своей тишиной и мрачностью двор выделялся и среди всеобщего потрезвенья. Под широкой его крышей тайно промышляли кумышкой. Если не считать хозяина, здесь было теперь бабье царство. Лошадь приняла одна из его снох.

– Продаваться не надумали? – спросил хозяин откуда-то сверху, высунувшись из окна и подперши голову рукою.

Начало прозы 1936 года. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
я не сразу сообразил, к чему относится его вопрос.

– Нет, не собираемся, – ответил я. Очевидно, слухи о наших лесных владениях дошли до города и стали притчей во языцех.

Улица ослепила меня после дворовых потемок. Очутившись на своих ногах после седла, я ощутил наступление утра как бы вторично. Поздней обычного тащились на рынок возы с капустой и морковью. Дальше Дворянской они не доезжали. Их уже останавливали на каждом шагу как какую-то невидаль и раскупали дорогой. Стоя на телегах, бабы-огородницы, как со всенародного возвышения, клялись угодить каждому, но это не остепеняло толпы, не по-провинциальному шумной и сварливой, которая вокруг них вырастала.

По крашенной под мрамор лестнице в городскую контору Усть-крымженских заводов я нагнал седобородого юрятинского горожанина в сибирке сборами, придававшими его талии сзади что-то бабье. Он медленно взбирался передо мной и, войдя в контору, высморкался в красный платок, надел серебряные очки и принялся разбирать объявляемые, испещрявшие ближайшую от входа левую стену. Кроме издавна ее покрывавших печатных реклам и проспектов, одноцветных и в краску, на ней белело несколько столбцов бумажек, исписанных на машинке и от руки, которые и привлекли его внимание.

Здесь были публикации о покупке лесов на корню и в срубе, объявления о торгах для сдачи подрядов на всякого рода перевозки, извещение рабочих и служащих о единовременной прибавке на дороговизну в размере трехмесячного заработка, вызовы ратников ополчения второго разряда в стол личного состава. Висело тут и постановление об отпуске рабочим и служащим продовольственных товаров из заводских лавок в твердой месячной норме, по ценам, близким к довоенным.

– «Муки ржаной сорок пять фунтов, цена за пуд один рубль тридцать пять копеек, масла постного два фунта...» – читал по складам юрятинский мещанин.

Я застал его потом перед одной из конторок, за справками, согласилось ли бы правление рассчитывать по объявленным подрядам не кредитками, а карточными системами – как именно он сказал – вывешенного образца. Долго не могли взять в толк, что ему надо, а когда поняли, то сказали, что тут ему не лабаз. Я не слышал, чем кончилось недоразумение. Меня отвлек Вяхрищев.

Он торчал в главном зале счетного отдела, разгороженного надвое решеткою со стойками, и, заставляя сторониться молодых людей в развевающихся пиджаках, кидавшихся с ворохами бумаг из дверей кабинета правления, рассказывал всему помещению анекдоты и давился горячим чаем, который стакан за стаканом, ни одного не допивая, брал с подноса у стряпухи, в несколько приемов разносившей его по конторе.

Это был военный из Петербурга, в чине капитана, бритый и саркастический, состоявший приемщиком Главного артиллерийского управления на заводах.

Заводы находились в двадцати пяти верстах к югу от Юрятина, то есть в противоположную от нас сторону. Это было далекое путешествие, и его приходилось совершать на лошадях. Мы ездили иногда туда в гости, когда за нами посылали, однако это не имеет никакого отношения к Вяхрищеву. Надо рассказать, чем поддерживалось его постоянное остроумие.

Роль его была не из легких. Он был официальным лицом на заводах и жил там на положении гостя в доме для приезжающих, называвшемся приезжею. Кругом были специалисты, выдвинутые на первое место новыми военными требованиями, перед их авторитетом стушевывалось значение властей и владельцев. В большинстве это были люди университетские, по-разному, но все до одного прошедшие школу девятьсот пятого года. Для примера назову главного директора Льва Николаевича Голоменникова, имя которого, ныне покойного, известно по нескольким институтам, которым оно присвоено.

В студенческие годы он принадлежал к той группе российской социал-демократии, которой суждено было сказать миру так много нового. Однако было бы анахронизмом относить это замечание в нынешнем его значении к тем зимним вечеринкам, на которых принимал или появлялся этот высоченный, рано поседевший и слегка насмешливый человек.

Начало прозы 1936 года. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru

Приезжая помещалась на выезде, близ нефтехранилища, вынесенного с заводской территории на пустырь, к реке, и Вяхрищев уверял, что там-то и содержится лабораторный спирт, раствор которого так оживлял эти вечерние собрания. Во всех увеселениях участвовал, разумеется, и он, и когда разговоры при нем немного умеряли не из страха перед его присутствием, а из опасения, как бы его чем-нибудь не обидеть, он, естественно, оскорблялся и, таким образом, нехотя сам способствовал их революционности.

Эту несуразность он отлично сознавал и при случае выражал достаточно ядовито. «Русский военный атташе на Крымже», – представлялся он, давая понять, что заводы считает самостоятельной державой. Или пускался в перечисление союзников и, дойдя до Румынии (это было позднее), продолжал: «хлорный, хромпиковый Лев Николаевич Голоменников». И все хохотали.

При виде меня он притворился, будто от неожиданности глотнул кипятку больше нужного, в испуге выкатил глаза, перекрестился и, поставив блюдце со стаканом на край загородки, стал отмахиваться, как от призрака.

– Значит, вы живы? – кончив представление, затараторил он. – Где же вы пропадали? Что слышно в ваших лесах? Сепаратного еще не заключили?

– Тут сверток для господина Громеко. Не захватите? – спросил вышедший из-за решетки конторщик.

– Как же, конечно. Я за ним. А не тяжело? На себе утащу?

– Для ваших заплечных ремней, пожалуй, тяжеловат. Кулек ощутительный.

– Тогда я часа через два, я сейчас без лошади. Простите, – обратился я к Вяхрищеву, – меня отвлекли. Я к вашим услугам.

Он стал таскать меня из комнаты в комнату, засыпая невозможным вздором и убеждая тотчас же ехать с ним на Крымжу на какой-то тамошний семейный праздник. По счастью, нам навстречу попался доктор, член юрятинской врачебной управы, выходявший в это время из директорской.

– Вас ли я вижу, дорогой доктор? – воскликнул Вяхрищев.

Фарс начался. Воспользовавшись освобождением, я поспешил в наше отделение Союза земств и городов, ютившееся в одной из квартир того же дома, со стороны Ермаковского сада.

Хотя Союз больше всего был занят задачами снабжения, в которых Александр Александрович не смыслил ни бельмеса, отделение, собственно, было местом его службы. Он состоял при разделе резервов вольным консультантом по молочному скоту и его селекции – специальность, по которой и окончил в свое время Женевский политехникум, и даже с каким-то отличием. Сам он наведывался в Юрятин не часто и для подачи консультации пользовался представлявшимися оказиями или посылал в отделение с записками Демида. Делать ему в отделение было решительно нечего, и он лишь изредка напоминал о себе, чтобы не вышло скандала, то одному сослуживцу, то другому, видоизменяя поводы для живости и правдоподобья.

Сейчас я под самым праздным предлогом должен был повидать одного из основателей отделения, редактора прогрессивной газеты края, почему-то охотнее принимавшего в земствах и городах, нежели у себя в редакции. Однако оказалось, что он накануне выехал в Москву. Я отправился к Истоминой.

Об этой женщине что-то рассказывали. Она была родом из здешних мест, кажется, из Перми, и с какой-то сложной и несчастною судьбою. Ее отец, адвокат с нерусскою фамилиею Люверс, разорился при падении каких-то акций и застрелился, когда она была еще ребенком. Другие приписывали это какой-то неизлечимой болезни. Дети с матерью переехали в Москву. Потом, по выходе замуж, дочь каким-то образом снова очутилась на родине. Ходившие о ней рассказы относились к позднему времени и займут нас не скоро.

Хотя преподаватели казенных учебных заведений мобилизации не подлежали, ее муж, физик и математик юрятинской гимназии Владимир Васильевич Истомин, пошел на

Начало прозы 1936 года. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru войну добровольцем. Уже около двух лет о нем не было ни слуху ни духу. Его считали убитым, и жена его то вдруг уверялась в своем неустановленном вдовстве, то в нем сомневалась.

Я взбежал к ней по черной лестнице нового здания гимназии с несколько удлинненными маршами очень тесного и потому казавшегося кривым лестничного колодца. Лестница что-то напоминала.

Чувство той же знакомости охватило меня на пороге учительской квартиры. Дверь в нее была открыта. В передней стояло несколько мест дорожной клади, дожидавшейся обшивки. Из нее виднелся край темной гостиной с пустым и сдвинутым с места книжным шкапом и зеркалом, снятым с подзеркальника. В окнах, вероятно выходявших на север, горела зелень гимназического сада, освещенного сзади. Не по сезону пахло нафталином.

На полу в гостиной хорошенькая девочка лет шести укладывала и стягивала мотком грязной марли свое кукольное хозяйство. Я кашлянул. Она подняла голову. Из дальней комнаты в гостиную выглянула Истомина с охапкой пестрых платков, низ которых она волочила по полу, а верх придерживала подбородком. Она была вызывающе хороша, почти до оскорбительности. Связанность движений очень шла к ней и была, может быть, рассчитанна.

– Вот, наконец решилась, – сказала она, не выпуская из рук охапки. – Долго же я вас водила за нос.

Среди гостиной стояла раскрытая дорожная корзина. Она сбросила в нее платки, отряхнулась, сгладилась и подошла ко мне. Мы поздоровались.

– Дача с обстановкой, – напомнил я ей. – На что вам туда мебель? – Основательность ее сборов меня смутила.

– А ведь и в самом деле! – заволновалась она. – Что ж теперь делать? К трем сговорены подводы. Дуня, сколько у вас там на кухонных? Ах, ведь я сама послала в дворницкую. Катя, не мешайся тут, ради Христа.

– Двенадцать, – сказал я. – Надо отказать лишним ломовикам, а одного оставить. У вас еще много времени.

– Ах, да разве в этом дело!

Это было сказано почти с отчаяньем. Я не мог понять, к чему оно относится. Вдруг я стал догадываться. Вероятно, ей отказывают от казенной квартиры и она надеется найти у нас постоянное пристанище. Этим объясняется ее поздний переезд. Надо предупредить ее, что зимы мы проводим в Москве, а дом заколачиваем.

В это время с лестницы донесся гул голосов. Вскоре им наполнилась и прихожая. В дверях гостиной показалась девушка с несколькими связками свежей рогожи и дворник с двумя ящиками, которые он со стуком опустил на пол. Опасаясь новой проволочка, я стал прощаться.

– Так что же, – сказал я, – в добрый час, Евгения Викентьевна. До скорого свиданья. Дороги просохли, ехать сейчас одно удовольствие.

Выйдя на улицу, я вспомнил, что с постоялого мне не прямо домой, а еще в контору за тучком, отложенным для Александра Александровича. Однако до Сенной я решил зайти пообедать на вокзал, буфет которого славился дешевизной и добротностью своей кухни.

Дорогой мысли мои вернулись к Истоминой.

До этого разговора я видел ее два или три раза, и во всякую встречу меня преследовало ощущение, будто сверх того я уже ее когда-то видел. Долгое время я считал это ощущение обманчивым и не искал ему объяснения. Сама Истомина ему способствовала. Она должна была что-нибудь напоминать каждому, потому что некоторой неопределенностью манер сама часто походила на воспоминанье.

На вокзале было сущее столпотворенье. Я сразу понял, что уйду несолоно хлебавши. Растекаясь рукавами от билетных касс, толпа уже без промежутков заливала все его

Начало прозы 1936 года. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru залы. Публику в буфете составляли по преимуществу военные. Половине не хватало места за столами, и они толпились вокруг обедающих, прогуливались в проходах, курили, не смотря на развешанные запрещения, и сидели на подоконниках. Из-за конца главного стола все порывался вскочить какой-то военный. Товарищи его удерживали. За общим шумом ничего не было слышно, но, судя по движениям оправдывавшегося официанта, на него кричали. Направляясь туда, зал пересекал содержатель буфета, толстяк, раздутый, как казалось, до своих неестественных размеров посудными гулами помещения и близостью дебаркадера.

На дебаркадер было сунулся я, чтобы, минуя давку, пройти в город путями, но швейцар меня не пустил. Сквозь стекла выхода бросалась в глаза его необычная пустоватость. Стоявшие на нем артельщики смотрели в сторону открытой, в глубь путей отнесенной платформы, служившей продолжением крытых перронов. Туда прошел начальник станции с двумя жандармами. Говорили, что при отправке маршевой роты там недавно произошел какой-то шум, рода которого никто толком не знал.

Обо всем этом вспомнил я в конце обратного пути лесной дорогой через рыньвенскую казенную дачу, где Сорока, точно заразясь моей усталостью, сама, встряхивая головой и поводя боками, пошла шагом.

В этом месте с лесом делалось то же самое, что со мной и с лошадью. Малоезжая дорога пролегла сечею. Она поросла травой. Казалось, ее проложил не человек, но сам лес, подавленный своей необъятностью, расступился здесь по своей воле, чтобы пораздумать на досуге. Просека казалась его душой.

В ее конце мысом в жердяной изгороди вклинивался белый прямоугольник. Это были ясырские яровые. Немного дальше показывалась бедная деревенька. Обрамлявший ее с горизонта лес смыкался дальше новой стеною. Ясыри с их овсами оставались позади ничтожным островком. Вероятно, как и в соседнем Пятибратском, часть земли крестьяне арендовали у уделов.

Я ехал шагом и, хлопая комаров на руках у себя, на лбу и шее, думал о своих, о жене и сыне, к которым возвращался.

Я думал о них, ловя себя на мысли, что вот я приеду и опять никогда им не узнать, как я думал о них этою дорогой, и будет казаться, будто я люблю их недостаточно, будто так, как хотелось бы им, я люблю что-то другое и отдаленное, что-то подобное одиночеству и шаганью лошади, что-то подобное книге. Но растолковать им, что это-то все и есть они, не будет никаких сил, и их недовольство будет меня мучить.

Поразительно, сколько было на их стороне правды. Все это были знамения времени. Их улавливало бесхитростное чутье близких. Нечто более неведомое и отдаленное, чем все эти пристрастья, уже стояло за лесом и вихрем должно было пронестись по человеческим судьбам. И они угадывали веянье грядущих разлук и перемен.

Что-то странное было в той осени. Будто перед тем, как выпить море и закусить небом, природа вздумала перевести дыханье и его вдруг захватило. Не так куковала кукушка, не так белел и плющился спелый послеобеденный воздух, не так рос и розовел иван-чай. И не так возвращался человек к себе в семью, дороже которой он ничего не знал.

Через некоторое время лес поредел. За неглубоким логом, межевою его границей, куда спускалась и откуда подымалась затем дорога, показался пригорок с несколькими строениями.

Роца, в которой стояла усадьба, заменяла ей ограду. Она была до того запущена, что могла позавидовать зимним кордонам лесников, попадавшим в разных концах соседнего леса. Изю всех глупостей, совершенных Александром Александровичем, это была самая непростительная. Какой-то школьный товарищ, занятый в здешней промышленности, прсмотрел для него этот ведьмовской уголок. Александр Александрович не глядя дал письменное согласие на сделку вместо приобретения луговых земель где-нибудь в Средней России, где ему с большей пользой пригодились бы его животноводческие познания. Но о пользе меньше всего думал этот образованный и тогда еще не старый человек. Он тоже посвящал свои мысли далекому и отвлеченному. Недаром получил я воспитание в его доме наравне с Тонюю, его дочкой. Как бы то ни было, становилось не до шуток. Сокровище это надо было как можно скорее продать на дрова, благо был на них спрос. Фабрики

Начало прозы 1936 года. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru переводили с минерального топлива на древесное, в городе больше всего говорили об этом.

При виде флигеля под малиновой крышей Сорока пошла вскачь. С горы я увидел Тоню и Шуру, со смехом бежавших ко мне со стороны оврага. Конюшня так и стояла с утра настезь. Только ступил я на землю, как лошадь, вырвав поводья, ринулась в нее, к корму и отдыху, слишком дразнившим ее глаз и обонянье. Шурка запрыгал и стал хлопать в ладоши, точно это было сделано нарочно для его забавы.

– Пойдем ужинать, – сказала Тоня. – Что это, ты хромаешь?

– Никак на ногу не ступлю, отсидел. Ничего, разомнусь, пройдет.

Из-за угла сарая вышел Демид и, скучливейше поклонившись, пошел расседлывать и убирать Сороку.

– Да, там в ремнях за седлом папе подношенье. Надо отвязать и отнести. Где он, кстати?

– Папа уехал до вторника. Днем были с заводов. Сегодня девятое, там какая-то Марья именинница. А что это такое?

– Продовольственный паек. Если он на Крымже, то тем лучше. Второй получит.

– Ты, кажется, сердисься?

– Суди сама, это начинает входить в систему. Мы не бездельники, не юроды, а папа твой так и попросту отличный человек. Между тем все детство я на хлебах у вас, папа – у своей родни, та – еще на чьих-то, и так далее, и так до бесконечности. Мы могли бы жить не дармоедствуя. Сколько раз предлагал я подсчитать наши знания и способности...

– Ну и что же?

– В том-то и дело, что теперь уже поздно. Это распространилось и стало всеобщим злом. В городе спят и видят, как бы попасть в приписанники к какому-нибудь горшку посытнее. Это возвращенье посессионных времен, знаешь ли ты, что это такое? Каждый, кого ни возьмешь, к чему-нибудь прикреплен и даже не знает, из каких рук в чьи завещан и передоверен. Источник самостоятельного существования утрачен. Согласись, радости в этом мало.

– Ах, как все это старо и надоело! Смотри, что ты делаешь. Это действие твоих монологов.

Мальчик плакал.

После ужина и примирения я ушел на кручу, обрывавшуюся в задней части роци над рекою. Странно, как я до сих пор ничего не сказал об этом демоне места, упоминаемом в песнях и занесенном на карты любого масштаба.

Это была Рыньва в своих верховьях. Она выходила с севера вся разом как бы в сознание своего речного имени и тут же, на выходе, в полуверсте вверх от нашего обрыва, задерживалась в нерешительности, как бы проходя на глаз места, подлежащие ее занятию. Каждое ее колебание разливалось излучиной. Ее созерцание создавало заводи. Самая широкая была под нами. Здесь ее легко было принять за лесное озеро. На том берегу был другой уезд.

Я лег на траву. Я давно уже лежал, растянувшись в ней, но вместо того, чтобы смотреть на реку, шевелил без смысла носами тесных сапог, разглядывая их с высоты подложенного локтя. Чтобы увидеть реку, глаза надо было чуть-чуть приподнять. Я все время собирался это сделать и все откладывал.

Все шло не по-моему, но и не наперекор мне и, следовательно, ни по-какому. Пожеланиям моим не хватало настойчивости. Уступчивость моя была не с добра. Страшно было подумать, от чего только не был я готов отказаться. Без меня родным было бы лучше, я портил им жизнь.

Постепенно мною завладел круг мыслей, привычных в те годы всем людям на свете и

Начало прозы 1936 года. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru разнообразившихся лишь их долею и личным складом да еще отличьями поры, в которую они приходили: тревожных в четырнадцатом году, еще более смутных в пятнадцатом и совершенно беспросветных в том шестнадцатом, осенью которого это происходило.

Мне снова подумалось, что было бы, может быть, лучше, если бы, несмотря на повторные браковки, я все же понюхал военного пороха. Я знал, что сожаленьям этим грош цена, добро бы я что-нибудь для этого делал.

Но прежде я жалел об этом из любви к жизни. Я жалел, что в ней останется пробел, если в памятный для отечества час я не разделю военных подвигов своих ровесников. Теперь я сожалел об этом из отвращения. Мне было жалко, что неучастие в войне сохраняет мне жизнь, настолько уже на себя не похожую, что с ней хотелось расстаться раньше, чем она сама тебя покинет. А расстаться с нею всего достойнее и с наибольшей пользой можно было на фронте.

Тем временем наш берег покрылся тенью. У противоположного вода лежала куском треснувшего зеркала. Он повторялся в ней на лаках зловещей яркости, в духе этой недоброй приметы. Берег был низкий. Отраженья засасывало под травяную бровку луга. Они стягивались и уменьшались.

Скоро солнце закатилось. Оно село за моей спиной. Река запылчилась, поросла щетиной, засалилась. Вдруг ее бородавчатая гладь задымилась в нескольких местах сразу, точно ее подожгли сверху и снизу.

В Пятибратском чуть внятно, но с видимой причиной залаяли собаки. Их лай подхватили на ближнем кордоне громко, но без причины. Трава подо мной заметно сырела. В ней лесными ягодами бредовой ясности зажглись первые звезды.

Скоро лай вдали возобновился, но роли в пространстве переменились: теперь с явным поводом лаяли ближние, а дальние только подвывали. С лесной дороги послышался стук колес. Донеслись неровные звуки ровного дорожного разговора. Разговаривающих подбрасывало в тарантасе. Поднявшись с мокрой травы, я пошел встречать нашу дачницу.

2. Перед разлукой

Не успела переехать Истомина, как промелькнула осень, и мы стали собираться в Москву. А тем временем, как в каждом из нас пробуждался столичный житель, сама природа городом обступила нас отовсюду.

Темным утром конца сентября Тоня попросила меня вывести Шуру на прогулку. Ей самой нездоровилось. Погода показалась мне неподходящей. Не выходила и Катя, каждое утро игравшая с Шурой на дворе. Однако, настаивая на своем, Тоня уже кутала его и одевала. Взяв его за руку, я вышел с ним в лес.

Тьма и сырость тотчас огласились его разглагольствованиями. Это было щебетанье возраста, щелканье данного вида. Так, как он, рассуждала вся земная тварь, обществом которой, на аршин от земли, он наслаждался.

Вдруг он отбежал и стал звать меня к себе. По траве скакал и обрывался на взлетах галчонок с волочащимся крылом. Он не сразу дался нам в руки. Наконец, сложив ему крылья и выпустив из пригоршни колпачком нахлобученную головку, я с ним поднялся. То показывая его сыну, то поднося к груди, я долго стоял нагнувшись. Глаза мои были прикованы к рукам, а руки заняты колотившимся сквозь пух и перья сердцем. Когда, выпрямившись, я посмотрел кругом, глаз мой не поспел за быстрой переменой положения. Тогда дружная обособленность лиственного леса в хвойном, главное чудо осени, бросилась мне в глаза чуть ли не впервые.

Расписным и золоченым городом стоял первый во втором, и его улицы, колокольни и кровли дождевым небом облегал черная, дымом ввысь уходившая хвоя. В этом городе все и произошло.

С тех пор прошло двадцать лет. Они падают на революцию, главное происшествие, заслоняющее все остальные. Родилось новое государство, никем не описанное,

Начало прозы 1936 года. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru небывалое. Его родила Россия, та Россия, которую застают и потом покидают мои воспоминания.

Мой сын, физик с будущим, стал человеком в более прямом значении, чем если бы вырос, может быть, при мне. Мужественнее моего справилась со своими испытаниями так долго меня ему заменявшая мать. Жив Александр Александрович, неутомимый шестидесятилетний специалист-генетик. Казалось бы, на их счет я мог бы наконец успокоиться. И, однако, всякий раз, как я ворошу в памяти сцены той осени, я опять надолго заболеваю бессонницей, как в позапрошлом году, когда еще при жизни их главной виновницы стал впервые записывать эти происшествия.

Для их хода несущественно, в каком порядке они располагались. Внешность Истоминой не давала мне покоя. В этом не было особого дива. Она приглянулась бы всякому. Однако бешенство, называемое увлечением, завладело мною позднее. Сначала я испытал действие других сил.

На пороге третьей военной зимы, неотвратимо близившей народное бедствие нашего полного разгрома, Истомина единственная из нас была человеком с откровенно разбитую жизнью. Она всех полнее отвечала моему чувству конца. Не посвященный в подробности ее истории, я в ней угадывал улику времени, человека в неволе, помещенного во всем бессмертии его задатков в грязную клетку каких-то закабаляющих обстоятельств. И прежде всякой тяги к ней самой меня потянуло к ней именно в эту клетку.

Приближался день нашего отъезда, билеты были заказаны. В отличие от прошлых зим, Демид на эту просился к родным в Пятибратское. Учительскую квартиру в Юрятине получило новое лицо. Но не видно было, чтобы эти приготовления чем-нибудь беспокоили Истому.

– Поговори с ней, – попросил меня Александр Александрович. – Не брать же ее, в самом деле, с собою в Москву.

Я не помню ее ответа, так памятно мне, что его-то я при этих обстоятельствах все равно что не получил. Может быть, она сказала, что собирается стеречь дачу, если мы ее не гоним, но готовность прозимовать одной с ребенком в оглашаемом волками и заметном вьюгами лесу – какой же это был ответ? Жаль, что не прибавила она, что одна не останется и защитники у ней найдутся.

Я передал разговор Александру Александровичу и сказал, чтобы они ехали, а я задержусь еще немного на мельнице, чтобы дописать статью об исторических источниках пугачевского преданья, начатую тем летом по его почину; когда же помогу Евгении Викентьевне приискать угол в Юрятине, вернусь домой с готовой статьей – по моим расчетам в ноябре или, во всяком случае, не позже его исхода.

Здесь не было задней мысли. Таковы были мои истинные намерения. Никто в этом не сомневался. Но родные оказались дальновиднее. Они приняли мое решение с большой тревогой, точно знали наперед, что случится, и стали меня от него отговаривать. Разговоры затягивались за полночь, нарушали распорядок дня и оканчивались общими слезами. Но я не сдавался. Отъезд пришлось отложить на несколько дней, после чего его больше не отменяли.

После одного такого разговора с Александром Александровичем я долго не мог уснуть на полу в сторожке, на который перебрался с постели, чтобы не мешать крепко спавшей Тоне напряженностью моего бодрствования. Весь день недвижный дождь на границе измороси без капанья каплями висел в воздухе. Временами прояснялось. Набрав в жабры облаков, сколько они вмещали свежести и свету, вплавь показывалось небо, низко мчавшееся над двором. Мглу раздирало до ушей. Это длилось мгновенье. Ее концы сходились. Становилось темно, как ночью.

Мы разговаривали у него наверху, над истоминским низом. С некоторого времени упоминанья о ней в ее отсутствие ранили меня, получив осязательность лишения. Мне хотелось избежать этой слабости. Мы о ней не заикались.

В этот день она в первый раз топила. У Александра Александровича было жарко и накурено. Все время он то зажигал, то гасил огонь сообразно погоде и всякий раз, прежде чем насадить ламповое стекло на решетчатый кружок горелки, играл им, перекачивая в руке и согревая дыханьем. Но это не облегчало пониманья. У него было установлено, что я охладел к Тоне и недостаточно люблю Шуру, и легче было

Начало прозы 1936 года. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru бы сдвинуть гору, чем переубедить его.

– Я больше не могу, – говорил я. – Тевтоны и проливы у меня вот где сидят. Я чувствую, как дичаю и дурею. Тоня и Шура не видят жизни. Выжиданием мира я развеществляю ее. Вспомните Протасова из «Живого трупа». Мне надо устраниваться. Когда родился Шура, я был на его счет спокоен. Как все мне удавалось, какая деятельность рисовалась впереди! Я мог надеяться, что ему будет на кого оглянуться, как мне на вас, хоть вы мне и не отец. Какое детство вы мне обеспечили, какими окружили картинами! Правда, жалко, что я не обучен какому-нибудь ремеслу, но такие сожаленья в России будут раздаваться часто. Образование, направленное на обман, долго будет нашим проклятьем. Но это не ваша вина. А за воспитанье навек вам спасибо. Нечто подобное хотел я оставить своему ребенку. Но кто мог думать, что на нас надвинется такая небывальщина. Вглядывались ли вы когда-нибудь в Шуру как следует? Чертами лица он в Тоню, а их жизнью и игрою – в меня. Глаза же у него не от нас, это свое, но лучше бы этого не бывало. В них мольба и недетский испуг. Точно это не зрачки, а руки, вытянутые в отвращенье близящегося несчастья. – Я не выдержал и заплакал. – Так смотрят обманутые. Это я обманул его, залучив в жизнь неосуществимыми надеждами. – И, окончательно разрыдавшись, я закрыл лицо руками.

Александр Александрович задул лампу. Бледный день, до неузнаваемости обезображенный ненастьем, пробрался в комнату. Александр Александрович шагал по ней и разносил меня на чем свет стоит. Внизу пекли картошку в золе и гремели печной заслонкой.

Вдруг какой-то удар в оконное стекло заставил нас обернуться. По нему, плющима ветром, серебром и ртутью разбегалась вода. Два кленовых листа сидели на нем, как приросшие. Мне страшно хотелось, чтобы они отвалились, точно это были не листья, а мое решение зимовать на мельнице, тяготившее меня не меньше близких. Но вода бежмя бежала по стеклу, а листья не трогались, и это меня угнетало.

– Что же вы остановились? – спросил я Александра Александровича. – Вы что-то хотели сказать о моих родителях. Ну да – ссыльный поляк и дочь кантониста... И я потерял их трех лет от роду и слишком поздно узнал по рассказам. Что же дальше? К чему вы их приплели?

– Так как же тебе не стыдно! В кого ты уродился? Уж ежели кому сокрушаться об отечестве, так мне сам бог велел. Я явленье потомственное, Александр Громеко, член военно-промышленного комитета, ну, не член, черт с тобой, а консультант, и не комитета – с тобой язык сломаешь, но дело не в этом. Я с верой смотрю на будущее, а тебя пугает приближенье революции.

– Боже мой, боже мой, что за пошлость! Уши, честное слово, вянут! Смейтесь надо мной, но хоть без подчеркиванья.

– Какой тут смех? Тут, брат, не до шуток. Любопытно, что бы ты мне ответил, если бы это было не в шутку.

– Я бы вам напомнил ваши собственные слова по возвращении от Голоменникова, – помните, вы туда ездили на Марью? Помните, как он вас тогда срезал? Развал армии, понявшей свое поражение, еще не революция – так по крайней мере вы передавали. Волны общественного недовольства выше, чем в пятом году, но обстановка другая. Дни рабочей группы в военно-промышленном комитете сочтены, и ее не сегодня завтра арестуют. Если собрание распыленных сил не произойдет раньше, чем разразится ураган, нас может ждать анархия. А это – Голоменников. не мы с вами, человек свой в революции, со связями в Финляндии и петербургском подполье... Да что вы, в самом деле, глазами хлопаете? Ведь я вам повторяю, что сам от вас слышал, если только вы этого не сочинили. Так о какой же вы тогда революции? Да и разве в этом дело?

Разговор замедлился и вернулся к прежней теме. Я напомнил Александру Александровичу сцены детства, проведенного в его доме. Эти сцены и обступили меня ночью. Из-за печной разгородки доносилось бормотанье Шуры. Он смеялся во сне. Рядом раздавалось мерное дыханье Тони.

Я отдался воспоминаниям тем охотнее, что они куда дружнее соединяли меня со спавшими, нежели тогдашняя моя, на смех мне данная свобода. Кое-что я расскажу.

3. Надменный нищий

Тысяча девятьсот второй или третий год, жаркий день апреля. Видимо, это на Фоминой, перед обычным в Москве майским похолоданием. Кругом простор и широкая слышимость, сменившие долгошумные проводы Пасхи. Небо еще не просохло от целодневного звона, которым его поливали всю Святую.

Мне девять лет – десятый. Уже полчаса как я без дела слоняюсь по 3-му Богоявленскому, заглядывая в его дворы и зазевываясь на колокольни. Скоро я тут поселюсь в доме Громеко. Пока же, хотя и частый его посетитель, я переулку еще чужой и плохо знаю эти места.

Какая-то площадь виднеется вдалеке, за дровяным двором, обрывающимся в нижнем конце переулка. Я не знаю, что это Большие Скотники, которые так поразят меня через два или три года, и что из двух домов на площади один, многостекольный и из голого кирпича, – Шепихинские мастерские, а другой, крашенный в охру, – Анилиновая фабрика Анонимного общества. Также не знаю я, что, вопреки настоящему своему названию, красивая церковь с тринадцатью куполами в верхней части переулка зовется Взысканьем погибших, по имени чудотворной иконы, в ней находящейся.

Еще квартирую я у Федора Степановича Остромысленского, дальнего родственника Громеко, их седьмой воды на киселе, которого вслед за всеми зову дядей Федей. Никогда не задумываюсь я над тем, кем он мне приходится. Матрена Ивановна Белестова, дочь псаломщика, молоденькая его сожительница и по этой причине отверженница родной семьи, величает его моим сухотником, то есть человеком, призванным обо мне заботиться. Сколько себя помню, я всегда с ним, хотя и не знаю, как у него очутился.

Сейчас он у Громеко, а меня оставил на улице, чтобы я случился под рукой, когда ему туда понадобится. Я на часах – караюю эту минуту, хотя и не ведаю, как о ней узнаю.

Вчера его письмецом вызвали сюда, и, видимо, неприятным. Его подали вечером, а до этого день прошел по-заведенному. После обеда дядя Федя разбирал сломанные кухонные часы. Это была главная его страсть. Их он разобрал на своем веку несчетное множество, но не собрал ни одной пары. Потом, разбранив меня не за тот табак и послав на Сретенку за новым, набивал папиросы. Потом, вспомнив про расшатанные табуретки, со стамеской и рубанком пошел на кухню пристрагивать им новые ножи, но, не закончив дела, только задал хлопот Моте: засыпал стружками белье на гладильной доске и опрокинул на пол жбан с горячим столярным клеем.

Потом присел к окошку с «Единственным и его достоянием» Макса Штирнера, книгой действительно вредной и полной грубых заблуждений, но на которую он стал бы шипеть и в том случае, если бы это был глагол самой истины. Книги, вообще говоря, читал он только затем, чтобы потом их опровергать в моем и Мотином обществе. За чтением имел он привычку напевать что-нибудь вполголоса, а слуху у него не было никакого. Штирнера этого читал он почему-то на мотив «Среди долины ровныя», прерывая его восклицаньями: «Ах, разбойник! Ну, погоди же, покажу я тебе!»

Тем временем жизнь двора шла своим чередом. Он помещался в одном из переулков между Сретенкой и Цветным бульваром. Цежеными трелями заливались канарейки у бобыля, промышлявшего ими на Трубе по воскресеньям. Татарам, торговавшим кониной, привозили и выгружали синие конские туши с умными мраморными головами. Кот из конских барышников, недавно выпущенный из тюрьмы, избивал свою мамашку, как тут говорили, и она возбuditельно визжала, а потом в соблазнительной растерзанности вырывалась наружу плакаться встречным и поперечным. Ко всему безучастная и как бы окаменев от запоя, раскорякой стояла старая нищенка близ помойной ямы. Старуха ветошница со щепой в мешке, казавшемся костлявым ее продолженьем, угощала ее козьей ножкой. Обе, жмурясь, затягивались, отхаркивались басом и, сплевывая и почесывая зады, смотрели на круглое небо с круглым солнцем, стоявшим прямо над дворовою дыроу.

Письмо подали перед ужином. За рассольником с потрохами и студнем из телячьих

Начало прозы 1936 года. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
ножек дядя Федя жаловался на людскую напраслину, смолоду его преследовавшую.

– Лучше б вам все-таки куда-нибудь определиться, – робко замечала Мотя. – И самим было бы приятнее, и легче смотреть в глаза людям. При типографии Архива чем была не служба? Ну, о городском училище я не говорю. Обучение детей, видно, не по душе вам, и это правда, хуже нет, когда начальство в букварях ищет смутьянства.

«Чем живет дядя Федя?» – думаю и я, разгуливая по 3-му Богоявленскому. Александр Александрович читает в Петровской академии и пишет руководства по естествознанию, его брат Николай – профессор римского права, его зять Канчугин занимается врачебной практикой. Я перебираю всех, кого знаю, вплоть до знакомых столяров, сапожников и горничных, и прихожу к заключению, что у дяди Феди есть какой-то секрет ни жать, ни сеять и питаться как птицы небесные, если не лучше.

В противоположность нашим краям окрестности четырех Богоявленских полны чистоты и поэзии. В тени без уговону возятся воробьи, бульжины пахнут сковородной пригарью солнцепека. Точно в частом поту свешиваются липовые побеги в крепко, до едкости, пахнущих почках. А в церковном саду у Взысканья погибших тополя уже в молодом листе, точно во всем жары ради смененном летнем.

А внизу еще сыро. Груды белошафранного швырка на дровяном дворе плавают в горячем шоколаде черной слякоти.

Как яйцо в глазунью, выпущен в лужи синий, бело-облачный полдень. Всю Страстную тут гоготали гуси, соперничая в белизне с последними сугробами.

Но теперь тут ни гусей, ни снега. Головастые ветлы над конторой угорают от грачиного крика. По двору дрогливо и рассудительно похаживают куры. Дворы всем околотком отвечают петуху, скрытому за поленницей. Но вот и сам он, масленоголовый и шелковобородый, – рясофорная, бисерящаяся птица самоварного золота. Видно, опять пора ему раскатить свое «слушай» по всем караульням – так выпрямляется он, точно аршин проглотил, перед тем, как загорланить. Потом давится, как костью, кукареканьем и, обугливаясь жаром пера и хвостом осыпая искры, оправляется от запевки, точно облегчив желудок. Тихо кругом. Жарко.

Но что это? Не сигнал ли мне? Зажмурясь, как перед выстрелом, обеими руками открывает окно гостиной старая громековская девушка Глафира Никитична. Приткнув половинки крючками и сложив руки под передником, она локтями и грудью ложится на подоконник. Перед ней через дорогу три этажа каменного противоположного дома.

– У вас, видать, новенькая, – негромко, как из комнаты в комнату, обращается она куда-то под крышу. – Вы ей прикажите наперед мелом, а то что ж это такое: возит, возит, не отмаетса.

Не слышно, что ей отвечают. Из громековского полуподвала выходит обойщик Мухрыгин, личность, прежде времени сморщенная смешливостью и склонностью к душевным угрызениям.

– Вы их послушайте, мадам, – говорит он в ту же сторону. – Подол задирать – все равно крыши не покроешь. А окна мыть – на это самые знающие маляры. Тут не мыло, тут надоть мел.

Обогнув дом, я двором прохожу в него с черного хода.

Тут первым делом попадаю я в обширные сени. В них широкое трехстворчатое окно. Из них поднимается лестница в мезонин.

На дворе перед сенями растет старый трехствольный тополь. Летом, когда он зазеленеет, стекло в окне кажется бутылочным, и все играет пивными зайчиками бурого зноя.

Посмотрев через дверь, я вижу у окна в гостиной Тоню с детским рукодельем. Не глядя на работу, она к чему-то прислушивается.

– Что ты тут делаешь? – спрашиваю я, подойдя к ней.

Ничего мне не ответив, она прикладывает палец к губам, а потом вдруг говорит:

Начало прозы 1936 года. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru

– Ты теперь бедный. Совсем-совсем. Они говорят, он тебя, как кустик, объел. Не спорь, я сама слыхала. Все, говорят, спустил и профарфорил. Тебя отдадут в гимназию. Ты будешь жить у нас.

Дверь из будуара Анны Губертовны, называемого бабушкиной угловушкой, приотворена. Ее за ручку придерживает изнутри дядя Федя. Видимо, он собирается уходить. Но вот он снова ее притворяет, оставив щель. Там дымно и много народу. Но это может быть обман чувств, этому способствует обстановка угловушки.

Там с потолка низвергается целый дождь благозвучных стеклянных подвесков, с бамбуковых жардиньерок спускаются усики выющихся растений, перед окнами просвечивающие слюдяные картинки на цепочках, а у входа камышовая с бисером занавесь, в струйчатых изломах которой и стоит дядя Федя.

– Главное, он обижается! – голосом тигрицы вырывается из этой тростниковой заросли. – Подумаешь, казанская сирота!

Этот голос громековской невестки, запойной кофейницы и любительницы меховых палантинов, бровастой брюнетки. Дяди Федя не слышно, он говорит вполголоса. Вероятно, он предлагает очную со мной ставку. Это вызывает новую бурю негодования. Все говорят разом, нельзя отличить, кто о чем.

– Детей впутывать? – Опомнитесь! – Вы туняец! – Недавно у нас в сиротском суде... Мамуриться, брат, можешь, с кем тебе угодно, но дети... – Не ваше дело, бога вы не боитесь. – Лучше скажите, что вы сделали с закладной? – Bravo, Анета. Да, да, ты нам ответь, что ты сделал с закладной. – Наука? – В интересах науки? – Нет, он мертвого рассмешит! – Ну и горе-аптекарь, нечего сказать. – Анисовую настаивать или зверобой... Ха-ха-ха! – И спаситель наш... Моментально, Федор, прекратить, а то я при всех такую покажу тебе паперть – будешь у меня жалобить, как на Хитровке. – Успокойся, Саша, умоляю. Тебе вредно расстраиваться.

Голоса выравниваются. После общего крика их спокойствие кажется гробовой тишиной. На семейном совете обсуждают что-то практическое. Дядю Федю просят вглубь, к круглому столу. Частыми вызовами посылают Глашу то за чаем с птифурами, то за чернильным прибором. Она его приносит на подносе, с сургучом и свечкой в подсвечнике. Составляют и подписывают какую-то бумагу.

Мы с Тоней собираемся наверх, в ее детскую, но, как пригвожденные, остаемся на месте. В дверях показывается дядя Федя, долговязая орясина в очках, с отращенными волосами, живая всему на свете укоризна в серых штанах, заправленных в мягкие валенки.

Он нас не видит. Дойдя до середины зала, он с разбегу останавливается. Наклонившись вперед и ладшкой подгребая бороду, он задумывается. Решив оставить последнее слово за собой, он поворачивает назад к будуару.

– Дядя Федя! – окликаем мы его, предупреждая о своем присутствии.

– Зачем вы тут, дети? – говорит он, забыв о данном мне поручении.

Передумав заходить в угловушку, он в рассеянности направляется к выходу, но, вспомнив о нас, возвращается.

– Прощай, Патрикий, – с дрожью в голосе говорит он. – Расти и тут, как рос у меня. Добрые семена, которые я заронил в тебе, не пропадут даром. Малы вы еще понимать, что тут приключилось, в этом женском кабинете. Господь терпел и нам велел. Прощай, Патрик. Прощай, Антонина. И, прошу, не провожайте меня.

На другой день я поселился под одним кровом с Тоней.

Впоследствии, когда наряду с историографией пристрастился я к литературе и призванье столкнуло меня с учением о типах, доверие к теории было у меня в корне отбито воспоминаниями о первом моем покровителе. На своем детском опыте научился я думать, что всякая типичность равносильна неестественности и типами, строго говоря, бывают лишь те, кто в ущерб природе сами в них умышленно лезут. Зачем, думалось мне, тащить типичность на сцену, когда уже и в жизни она театральна?

Начало прозы 1936 года. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru Силу свою дядя Федя полагал в пародии на народника и светлую личность, которую, не имея об этих вещах никакого представления, он из себя корчил.

Свою склонность к отвлеченным существительным среднего рода и неопределенным местоимениям принимал он за философскую жилку. Каким-то сретенским Диогеном казался он себе и свою ничем не выделяющуюся серость считал качеством простого народа.

Как могло родиться такое притязание? Рядом жил и двигался этот народ, сплошь ремесленник, деталист, знаток чего-нибудь одного, мастер и фанатик частности, дитя страсти и игрушка случая, а он не видел его острой отчетливости, воспринимая в той водянистой и напыщенной общности, которую сам являлся, ничему толком не обученный, приблизительный, никакой всякий.

Прошли годы и не изменили его. Не изменило и несчастье. За него отдувалась Мотя, распродававшая его книги и благодаря каллиграфической руке зарабатывавшая перепиской бумаг и нотариальных актов.

Химик-любитель по Рубакину, кипятил он однажды какую-то смесь. По неизвестной причине пробирку разнесло вдребезги. Мига не прошло, как лицо его превратилось в кровавую кашу. Он ослеп в несказанных мучениях, оба глаза были забиты мельчайшими стеклянными осколками.

В последних классах гимназии занимался я платным репетиторством. Один из уроков давал я на Царицынской. Остромысленские после несчастья жили в Хамовниках. У меня был их адрес. Я решил их навестить.

Окна кухоньки, которую они снимали в нежилой, сдававшейся под контору квартире, выходили на улицу. Из них раздавались ровные звуки Мотина голоса. Она вслух что-то читала. По перводвигателю, материи и форме можно было догадаться, что это Аристотель в каком-то допотопном переводе.

– Вы это понимаете? – перебила Мотя свое чтение.

– А что тут понимать? Явная галиматья. Автора не трону, имя почтенное, а переводчику не поздоровится. Продолжай, пожалуйста.

Тут я их окликнул. Оба мне обрадовались и стали звать внутрь. Но у меня было подряд два урока. Я пообещал зайти в другой раз, а пока, сказал, постою на улице. Так мы и разговаривали.

Некоторое время все шло хорошо. Дядя Федя мало изменился. Ранения на лице зажили без следов. Он слегка поседел. Разговор шел в соответствии с теплым уличным воздухом, с нашими местами в кухне и на тротуаре, с разницей нашего возраста.

– Ах, годы, годы, – говорил дядя Федя. – Где же ты столько пропадад. Мотя, обсмотри его со всех сторон и опиши. Важничает? Вырос? Небось важничает, морда лошадиная. А Матрена Ивановна в январе папашу похоронила, ты посочувствуй.

С этой фразы все переменялось. Мне бросилась в глаза Мотина молодость и миловидность. В нее так легко было влюбиться. Не должен был так говорить об ее утрате этот старый дурак, никакая ей не поддержка и горю ее вероятный виновник. Мне стало противно.

– Слухами земля полнится. О пробах пера твоих знаю, – сказал он и заговорил о них подробнее. В принципе он их одобрял, но предостерегал от дурных примеров. Под последними разумел он как раз все то, чему поклонялся я тогда, пред чем благоговел.

В вырезе усов и бороды двигались его губы, самодовольные, как две астраханских виноградины. На них страшно было глядеть, потому что в живом своем блеске производили они впечатление зрячего места на этом гладком лице, затянутом и успокоенном слепотой. Он поучал, наслаждаясь, точно десерт ел, а я вынужденно соглашался, чтобы не огорчать его.

– Хоть на крылечко бы зашел. На минутку, – позвала Мотя, чтобы прекратить мученье моего недобровольного предательства.

Начало прозы 1936 года. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
Я послушался. Завернув во дворик, я застал ее сидящей на ступеньке с толщеннейшим Священным Писанием на коленях. Муслия палец, она быстро его перелистывала и, не подымая головы, подала мне для пожатия левую руку.

– Вот гляди, Патричок, что покажу тебе. Вот гляди, на что на днях наткнулась. Ах, да куда же оно занастылось? Вот. Вот, смотри.

– «И три рода людей, – прочел я в стихе, – возненавидела душа моя: надменного нищего, лживого богача и старика прелюбодея...»

– Надменного нищего, – с торжеством повторила Мотя. – Каково, Патричок? Не в бровь, а в глаз!

4. Тетя Оля

У Александра Александровича была сводная сестра Ольга Васильевна, слушательница Высших женских курсов Герье. Это была миловидная блондинка, любившая поговорить и подурачиться, существо компанейское и страшная непоседа.

Она принимала близко к сердцу все частности академической жизни у себя и в университете, и значенье, которое она им придавала, часто производило комическое впечатление.

В девятьсот четвертом году, работая одно время в студенческой столовой, она с увлечением рассказывала о борьбе, которая ведется между кассой взаимопомощи и прежним Обществом вспомоществования, которое она призвана заменить.

Александр Александрович не понимал, как можно с таким жаром толковать не о помощи нуждающимся, а о том, где и под каким именем она будет производиться.

– Что ж тут непонятного? – в свою очередь удивлялась Оля. – Общество – учреждение официальное, утвержденное попечительством, а касса – начинание демократическое и, занимаясь текущими нуждами, не будет чуждаться политики.

– Виноват, – поправлялся тогда Александр Александрович. – Я не говорю, что не вижу разницы. Наоборот, она так очевидна, что разговор выеденного яйца не стоит. Ты же рассуждаешь об этом как об историческом событии.

Историческим событием все это потом и стало.

Весь год Оля носилась по студенческим сходкам и не пропустила ни одной демонстрации, с которых иногда влетала к нам со свежими политическими новостями. К весне тысяча девятьсот пятого года она была уже записной и признанной пропагандисткой. Тогда случай свел ее с одним любопытным человеком.

В середине января, вскоре после событий девятого, выступала она на парфюмерной фабрике Дюшателя, где было много работниц. Собрание происходило на фабричном дворе, под открытым небом. Взобравшись на перевернутый ящик, Оля призывала собравшихся примкнуть к забастовке протеста, готовившейся в ответ на происшедшее. Ее слушали с земли и таких же ящиков, во множестве загромаждавших вход в экспедицию и браковочную.

Хозяева вызвали казаков. В те месяцы их было не узнать. Булыгинский проект узаконивал крамолу. Им все чаще давали отпор на улицах. Казаки стали в отдаленье за воротами фабрики и нагаек в ход не пускали.

Как бы то ни было, собравшимся предложили разойтись, и Оле, которую застали говорящей, грозил неминуемый арест. Тогда, чтобы запутать картину, работницы стали влезать на ящики и перекрикиваться издали и, постепенно окружив Олю, дали ей с ними смешаться. В давке, образовавшейся перед проходной, чьи-то руки накиннули на нее тулуп и платок. В тулупе внакидку вместе со всей ватагой Оля вышла со двора и неузнанною прошла мимо казаков. Дальше толпа разбилась, и когда улицы через три Оля вспомнила про платок и тулуп, не у кого было спросить, кому их отдать.

Начало прозы 1936 года. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
За ними от Дюшателевой работницы пришел в воскресенье упаковщик той же фабрики Петр Терентьев, рослый малый в ватном пиджаке и высоких сапогах. Он стал у двери и не проронил ни слова, пока Оля суетилась, оправдывалась и увязывала вещи в худую, но чистую простыню.

В марте она его видела два раза на загородных массовках. На первой, где она выступала, они только поздоровались. На второй, по нездоровью отказавшись от слова, она сама попала в его слушательницы, и они потом разговорились.

Массовку устраивали мебельщики со Стромьнки при участии соседей, рабочих Ярославской железной дороги. Ни к тем, ни к другим Терентьев не имел никакого отношения. Олю удивило, что все его знают.

Весна только начиналась. По ложбинам кусками черного мела залеживался снег. Сидели на пнях и бревнах недавней лесной валки.

На собрании выступил анархист. Еще раньше Терентьев подсел к Оле. Разложив на коленях газету, он резал хлеб и чистил крутые яйца. Когда заговорил анархист, он стал сопровождать его речь замечаниями, обнаружившими ум и начитанность. Оля подумала: «Какой же это укладчик?»

Вдруг анархист кончил, и все закричали:

– Терентьев! Петька! Валяй анархию по косточкам!

Он не дал себя упрасивать, аккуратно стряхнул с платья яичную скорлупу и крошки ситного, утер рукою рот и, поднявшись, стал возражать предшествующему оратору.

Интеллигенты-общественники любят говорить под народ, что выходит нарочито, даже когда не перевирают поговорок. Подымаясь в общественники, народ потом копирует эту копию, хотя мог бы без чувства фальши пользоваться живущим в нем оригиналом. Так, то вдруг нескладно-книжно, то неумеренно образно, говорил и Терентьев. Но все это было умно и живо.

Пустую вырубку окружали голенастые ели и сосны. За ними лиловела голая, еще только что отзимовавшая чаща. Из нее заплывал паровозный дым и тянул клочьями до самой заставы.

Обратно шли пешком. По Сокольническому шоссе летели вагоны недавно проложенной электрички. Оля что-то сморозила насчет тока и тяги, и Терентьев подивился ее техническому невежеству. Чтобы сгладить неловкость, он сказал:

– Тянет «Коммунистический манифест» почитать, а по истории я ни в зуб. Скоро лето, вам не учиться. Что, если б вместе?

После двух-трех встреч она узнала. Он сын клепальщика Люберецкого депо, чуть ли не с двенадцати лет стал на ноги, одну за другою окончив две школы, городскую и ремесленную, шестнадцати лет поступил на службу мастером на пятнадцатирублевое жалованье; учась на каждом новом месте и чтением пополняя образование, переходил с фабрики на фабрику; рано просветился политически; сидел в частях и высылался по этапу; а главное, как она давно уже подозревала, в парфюмерных упаковщиках скрывался с последнего места, где, кроме сборки дуговых фонарей, был организатором среди товарищей и откуда должен был исчезнуть.

– Вы очень способны, знаете ли вы это? – говорила она ему, когда невзначай он ненадолго заходил к ней, всегда куда-нибудь торопясь.

От хозяйки приносили самовар, и, заварив чай, Оля принималась что-нибудь рассказывать, про что сама узнавала из десятых рук утром или накануне. Про недавно состоявшийся Третий съезд, например, или про то, как относятся к вопросу власти в Лондоне и Женеве. «Мы, социал-демократы, полагаем», – говорила она. Или о тогда еще новом расколе: органы социал-демократии стали органами борьбы против социал-демократии. И на цыпочках подходила к двери проверить, не подслушивают ли. Терентьев выпивал стакан-другой и уходил, поблагодарив за беседу.

Иногда, но это было позднее, летом, дождь или какая-нибудь другая нечаянность задерживали его. Он садился что-нибудь обдумывать и вычерчивать. Идеи механических упрощений занимали его и задачи вроде изобретенья сверла,

Начало прозы 1936 года. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
развертывающего четырехугольные отверстия.

Оля читала что-нибудь вслух, а он сопел, откидывая голову набок, справа и слева осматривал рисунок и насвистывал, и эта работа несколько не мешала ему следить за Олиным чтением. Комната была в два света, и они отворяли в ней все окна.

В задних, за спинками стульев, виднелся двор, в передних переулок, и трудно было поверить, что и в природе они не разделены так же полно. Но внезапно их объединяла смена тождественного освещения.

Двор и переулок заливало желтым, как сера, светом, признаком кончающегося дождя. Но он возобновлялся, весь в мерцающих струях, точно натянутых на раму ткацкого стана. Желтое освещение сменялось черным, если такое выражение допустимо, черное – красным. В закате загорался притвор Спаса в Песках и черепные впадины его звонниц. Заглохший самовар приходилось раздуть. Это почти никогда не удавалось. Его разводили сызнова.

Подкрадывались сумерки. Оля закрывала книгу. Чай садились пить в надвинувшейся темноте. Только руки, сахарница и что-нибудь из закусок озарялись на минуту красноватым вздохом угольков, падавших в решетку самоварного поддувала. Вдруг занавески или страницы книги приходили в трепещущее движение, легкомысленное и тревожное, как мелькание ночной бабочки. Отблеск уличного фонаря заскакивал на вздрагивающую оконницу, или на глазной белок Терентьева, или на голую кафлю голландки. И тогда неловкое волнение, давно охватывавшее Олю, становилось очевидным.

– Опять гроза от Дорогомилова, – говорила Оля и поднималась, чтобы затворить окна надворного ряда, а когда возвращалась на место, мысли ее получали неожиданное направление.

Ей вспоминалась работница, не пожалевшая для нее платка и тулупа, и все относящееся к этой неведомой женщине начинало необычайно ее занимать. Но что-то не нравилось Терентьеву в ее расспросах. «Вдова, трое детей, мал мала меньше, золотое сердце», – почти отмалчивался он, и Оля не знала, чем ей огорчаться: тем ли, что она может причинить огорчение незнакомой женщине, ничего, кроме добра, Оле не сделавшей, или тем, что никакого огорчения она ей причинить не может, такая у той власть и сила.

Но это было летом, а друзьями они стали раньше, и ранней еще весной предложил он ей как-то навестить своих. Она стала перелистывать расписание, думая, что он приглашает к старикам в Люберцы. Но свои оказались инструментальной Казанских железнодорожных мастерских.

На станках рядами притирали какие-то части, и так как гул валов все равно заглушил бы голоса, то Терентьеву только знаками выразили свою радость и неопределенно кивнули Оле. Кто помахал рукой, ладонью разгоняя круглую рукоятку тисков, кто, нагнувшись к соседу, мотнул на вошедших головой и, что-то крича ему в самое ухо и смеясь, почесал бритую морщинистую щеку и стал рыться с выбором в гряде железной мелочи, чтобы сменить резец в гнезде или переменить деталь в патроне. С ленивой телесностью, как волос в парикмахерской, на пол падало жирное серебро стальной стружки. Как иные звания объединяет язык и платье, все движенья, вплоть до сверканья зубов и улыбки, подчинялись ходу незримого двигателя, раздувавшего тещины языки вытянувшихся трансмиссий. Мимо обширного застекления с полопавшимися стеклами, сотрясая полы и своды, пробегали поезда и паровозы. Но свистков не было слышно, лишь видно было, как отрывались от клапанов петушки белого пара и отлетали в пустое послеобеденное небо.

Все же несколько человек терентьевских приятелей вышли в разных местах из рядов. Одни, отлучаясь на короткое время, перевели станки на холостой ход. Другие, имея в виду постоять и поговорить, сняли их с привода.

Части, при вращении сплошь казавшиеся круглыми, по его прекращении лишались симметрии. Воображаемые валы и оси, приходя с замедленного бега в состояние покоя, оказывались четырехгранными брусами неправильной формы, с вынутыми шейками и непарными шипами. То же самое делалось с товарищами Терентьева по мере их приближения. Общетипическое отступало перед силою разностей и несходств.

С видом его ровесников, хотя некоторые были вдвое старше, они окружили стол у

Начало прозы 1936 года. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru вхола с какими-то наглухо приделанными к доске лекалами и винкелями, на который он сел и, помоги Оле вспрыгнуть, усадил ее рядом.

– Никак престол на парфюмерной, что в прогулочке? – спросили его, здороваясь.

– Н-да, святомученика Дюшателя, – понимающе усмехнулся он и прибавил: – Нет. Сами по себе шабашуем, – и рекомендуемым округленьем показал на Олю, знакомя.

Все стали здороваться за руку, и, как всегда, рук оказалось больше, чем кажется сразу в толпе. Некоторые знали ее по митингам в Консерватории. Это ей польстило. Посыпались новости. Кто-то сказал:

– Помнишь Назарова?

– Ну как же.

– Попадется – остерегайся. Провокатор.

– Быть не может.

– Будьте покойны.

– Где ж он теперь?

– А мы что – каменные? В февральскую стачку четверых уволили по нашему требованию. Ну, то же и он.

– Видите, как вас ублажают. На задних лапках ходят. А вы не верили.

– Это кто ж не верил?

– Да я первый.

– Вот так клюква!

– А что же ты думаешь? Бывало, подымаешь вас на шарап, сулишь вам золотые горы, а самого раздумки берут. Быть-то оно, думаешь, будет, да только за тем морем, что хвалилась синица зажечь. А она его, стерва, возьми и зажги. Зажгла. Показали мы им прибавочную стоимость.

Ему стали рассказывать о сокращении рабочего дня, повышении заработной платы и других улучшениях, достигнутых без него в февральскую стачку.

В разговор давно старался вмешаться темный, как прокуренный мундштук, модельщик с пучками волос в ушах и ноздрях, морщивший лоб с такой натугой, точно весь его надо было упрятать под черные очки. Ввиду неисполнимости намеренья верхняя часть лица выходила у него разочарованно-сердитой, а нижняя, в свисающих усах, удовлетворенно улыбалась. Наконец к нему прислушались.

– Это что! – рванул он и, как клещами гвозди, стал тащить хрипотою погнутые слова со дна самой, казалось, селезенки. – По свистку в главной конторе курсы Французской революции. Ей-богу правда, расшиби меня гром. Лектор каждую среду, по казенному найму.

– Правда, правда, – подтвердили остальные.

– А также Соединенные Штаты, – добавил кто-то для точности.

– Это для желающих, – одернули выскочку, чтобы не портил цельности впечатленья.

Слово вернулось к модельщику.

– Пуговкин в ночной смене, – пожалел он. – А то б ты послушал, как он солдат перевозил.

– Это какой же Пуговкин?

– Да знаешь ты его. Такой сознательный. Песочная пара.

Начало прозы 1936 года. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru

– Не знаю. При мне не было.

– Выдумывай! Двадцать раз вместе видали. Выговор такой польский: ах, быуа не быуа, песочная пара. Такой аккуратненький.

– Не помню.

– Сижу в бюро, и часы от Буре...

– А, Козодой, что ли?

– Во-во.

– Так бы ты прямо и сказал.

– В феврале дорога нас поддерживала. Он от мастерских прошел в комитет. Пуговкин. Да, да, Пуговкин – ты не мешай. Приходит на линию военный эшелон, возвращающийся с Дальнего Востока. С направленьем на брестскую ветку. Но, как сказано, состав ни тпру ни ну. Забастовка. В один прекрасный день отворяется дверь в комитет и входит сам начальник тракции фон Дебервиц-Свистелкин. Мать честная, те так и ахнули! Ты, конечно, имеешь понятие про эту селедочную потроху, какой это фурор и язва здешних мест. А он фуражку в кулачок и чуть не надвое расстилается. И, можете себе представить, прямо к Пуговкину; просит, чтобы он позволил передать эшелон на ветку. «Господа члены стачечного комитета, говорит, прошу, говорит, вашего разрешения передать эшелон на ветку». И чуть не плачет. А в комитете виднейшие теоретики сидели. Вот и делают виднейшие теоретики Пуговкину указания бровями и глазами. «Ступайте, говорят, товарищ Пуговкин, на паровоз, как бы с машинистом не получилось недоразуменья». А эти брови и глаза он так понял, что сам, дескать, не промах, срываай, как говорится, цветы, пока горячо, и, как сказать, лови момент. То есть чтоб он их разагитировал. И действительно, что он и сделал.

Терентьев сидел, опустив голову и свесив между колен сложенные руки. Не все в этих рассказах нравилось ему. «Что малые дети, – думал он. – Напроказили и радуются. А что дальше, об том никто и не думает».

– Ну а ты как? – спросили его.

Вместо ответа он выпрямился и, закинув руки за голову, потянулся.

Он сказал, что как это все ни распрекрасно, но далеко еще не все. Надо вперед смотреть. Даже когда и форма правления полетит в тартарары, это будет с полдела, пока мы сами не переменимся. Самим надо по-другому жить, повторил он, ничего не объяснив. Вот они кое-чего добились, а о том не подумали, что на то и перемены, чтобы их обживать по-новому. И опять все осталось в неясности.

Тут была какая-то важная для него идея. Ближе определить ее он не мог и про себя решил, что надо будет насчет этого справиться в местах распорядительной мысли, где это должны знать лучше. Таких мест тогда было два: окружной и городской комитеты. В окружном он никого не знал, а в городском у него были знакомые. Как бы то ни было, в мастерских о таких вещах и не задумывались, и, следовательно, как ни смутны были его собственные догадки, во вразумители сюда он еще годился. И тогда он вспомнил, зачем, собственно, пришел сюда. Он сказал, что собирается вернуться в мастерские. Время стало легче, прятаться больше нечего. На днях он потребует расчета у Дюшателя и попробует устроиться у них. Есть у него, кроме того, одна вещичка, которую надо будет у них выточить и потом испытать.

– Пойдемте, Левицкая, – сказал он, спрыгнув со стола, и стал прощаться с товарищами, а когда вышел с нею за двери, предложил: – Хочешь в Сокольники?

5. Ночь в декабре

Осенью в гимназии, где я учился, произошли беспорядки. В младших классах они выразились в глупейших безобразиях, в старших сомкнулись со студенческим

Начало прозы 1936 года. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru движением, полным смысла и мужества. Мы забастовали.

Я жил в семье либеральной, а то как бы очутился я в ней, безымянный отпрыск осужденных политических. Не ругать правительство считалось у нас дурным тоном. Да и как было его не осуждать.

Из многочисленной громековской родни были взяты на Дальний Восток кто военным врачом, кто инженером запаса. Но и без того о войне нельзя было забыть ни на минуту. В отличие от предшественников, царствование любило шум. Оно не только обманывало народ, но всеми видами слова ежедневно ему об этом обмане напоминало.

Нас били – оно выдавало это за победы. Мы шли на постыднейшую капитуляцию – оно и этот позор ухитрялось обернуть в какой-то трофей. Обнародовался манифест о свободах, которыми пользуется все образованное человечество, – но каким-то образом обстоятельство это ничего в наших порядках не изменяло.

Александр Александрович швырял газету на стол и в раздражении шагал по комнате. Потом надевал медвежью шубу и, зайдя к Анне Губертовне, отводил у ней душу, после чего, нахлобучив шапку и сунув ноги в глубокие ботинки, летел на извозчицких санках к какому-нибудь из университетских товарищей и жертвовал на организации.

В октябре после университетской осады нас посетила полиция. Сразу подумали, что разыскивают Ольгу Васильевну. Тогда Александру Александровичу было бы несдобровать. Но произошло недоразумение. Требовался некто Фалетеров, которого никто у нас не знал. Помощник пристава преобразился, установив ошибку, и изогнулся надвое, устремившись к выходу, точно дверная притолока опустилась и ему предстояло лезть от нас как из погреба. «Ничего, помилуйте, пустяки», – говорил Александр Александрович, а он все рассыпался в извинениях, прикладывал руку к козырьку и, изящно оступаясь, стучал кожаными калошами с медными подшпорниками.

После этого Ольга Васильевна перестала бывать у нас. Но этот визит имел еще другие последствия.

В сени к нам пришел с повинною пьяный обойщик Мухрыгин и покаялся в совершенном на нас ложном обносе.

Если бы о деле надо было догадываться по собственным показаниям обойщика, толку добились бы не скоро. Но оно было наполовину известно. Появлению Мухрыгина предшествовали пересуды нашего дворника с соседскими, перешептыванья Глафиры Никитичны с Анной Губертовной.

Мухрыгин сложил об Александре Александровиче кудрявую сказку, будто тот по подписному листу набирает охотников в жидовскую веру, сам подписался первым и даже его подбивал. Это была его основная мысль. Он ее на разные лады варьировал.

С ним на правах кума был соседский дворник. Сопровождение провинившихся было второй его природой. Забывая о кумовстве, он ни в чем обойщику не давал потачки. Усы в сосульках придавали ему вид блюстительный и свирепый.

Почему-то все мы оказались при этом в сборе. Анна Губертовна с утра просила мужа обойтись с обойщиком гуманно, дабы не сталкивать его с доброго пути, на который он вступил. Александр Александрович с трудом себя пересиливал.

– Отчего огня не зажигают? Лампу заправили? – спрашивал он. – Тогда пора зажигать. Да и что его слушать? Гнать в шею, и кончено. Я тебя, милочка, не понимаю.

Но Анна Губертовна делала ему знаки глазами. Александр Александрович пожимал плечами и, засунув руки в карманы, зевал и переминался с ноги на ногу. В сенях было холодно. Он скучал и зябнул.

Мухрыгин не сразу овладел речью. Он долго плакал, неутешно болтая поникшей головой. Несвязные восклицания душили его. Им в подкрепление собирал он пальцы в триперстие и, задерживая руку на подъеме, медленно осенял себя широким крестом. Потом, распустив щепоть, вытягивал руку вперед и плавательными движениями разгребал перед собою воздух в поисках слова. Он не раз рухнул бы лицом наземь,

Начало прозы 1936 года. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru если бы плечо не ныло у него в плоской клешне дворниковой рукавицы. Это раздражало его.

– Да что ты, шут гороховый, меня держишь? – возмущался он. – Кто ты есть такой, воротная петля, так меня держать? Я у их квартирующий в обоюдном согласье, а твое дело скребок да метла. Дозвольте, барин дорогой, слово сказать. Вы не то глядите, что я, как говорится, пьян, а глядите, об чем я плачу и убиваюсь. Слова нет, может, я действительно не в своем виде, ну я весь перед вами как на ладони, ваша воля казнить, ваша миловать, и притом не в буйном хмелю. Матушка барыня Анна Кувертовна, детки дорогие, надоть глядеть, откедова у человека слезы, верно я говорю? Какой, может, о душе, а какой об закащицком кредите, это надоть понимать. Теперь, к примеру, может, которому вашему знакомому гарнитур перетянуть или, скажем, новый лак и чтобы человек знающий и, главная вещь, с рекомендацией. Так ведь у вас в настоящее время на мою фамилию и язык не повернется, видите, какой грех. И как такое попритчилось, ума не приложу. Люди ведь, не кто-нибудь, коренные домовладельцы, своя косточка, а вот поди ж ты, на таких людей да вдруг такую канифоль...

– Что ж ты там все-таки сказал? – хмурясь, перебивал Александр Александрович.

– И не говорите, грех поминать. Тут и ночи курляньские, и пятьдесят два разбойника, и под Кремль подкоп.

– Как это пятьдесят два? Не много ли сразу?

– А это карты-с, ежели вы насчет разбойников. Обнаковенный ночной картеж.

– Ну и враль же ты, сукин сын! Карты он у нас видал, как это тебе, Анна, понравится? Ну да черт с тобой. Кремлю поверили, вот ты мне что скажи?

– А кто ж, ваша милость, такой околесной станет верить? Из Суцева, сами знаете, крюк немалый. Диви б какой антирес, а то какой вам расчет копать?

– Так какого ж черта ты все это молот? – Терпенье Александра Александровича истощалось. – Вот что, – сказал он. – За тебя барыня просила. А то б ты мне за клевету ответил. На этот раз ступай. Но вперед смотри. Таких квартирантов мне не надо.

В тот же день проводили мы вечер у Тониных двоюродных сестер. Все взрослые были в отлучке. Мы играли во мнения. Когда пришла моя очередь выйти из круга, меня вывели через две комнаты в третью дожидаться обратного вызова.

Это была гостиная. В ней горела одна стенная лампа в круглом абажуре. Тусклое сиянье кое-как добиралось до первого блестящего предмета, которому можно было бы сдать это трудное ночное дежурство. Ближайшим был ящик аквариума. Листья водорослей перехватывали луч-другой сквозь стекло и воду.

Мне не игралось. Я из этих глупостей вырос. Меня не занимало, что наврут обо мне братья Лунцы или сестры Ярыго, но, подумав о Тоне, я вдруг почувствовал, что огорчусь, если и в шутку она отзовется обо мне обидно. Этой чувствительности я раньше за собой не знал. «Да еще и этот Мухрыгин...» – ни к селу ни к городу подумал я.

Сцена во всех нас оставила неловкий осадок. Я смутно чувствовал, что надо что-то поправить не в обойной под нами, а во всем свете, но что именно и каким способом, не пытался и думать, такая томительная неразрешимость исходила от вопроса. Что ж это они? – удивился я. Неужто еще не готовы? Ну и наслушаюсь!

По переулку со жмушим капустным скрипом прошел пешеход. Видно, сильно подморозило. В два яруса сразу, по земле и небу, пронеслась карета. С занавеси на занавесь полплыли безногие блики. Рыбки в аквариуме вспомнили, что они живые, и, какая зеркальцем, какая медной денежкой, обошли грот с фонтанчиком, распылив несколько капель огня этой части гостиной.

В комнату влетела младшая из сестер, хохотушка Нонна.

– Он подслушивает! – крикнула она в глубь темной анфилады. – Надо переиграть. – И с хохотом убежала, затворив за собой дверь и задернув портьеру.

На рояль падал свет уличного фонаря, горевшего через дорогу. Он стоял у садового забора. Над рожком свешивалось несколько сучьев. Они бросали на окно, покрытое зернистой мутью мороза, серые тени в бревно толщиной.

Вдруг низ дома огласился шагами и звуками. «Неужели сами? – подумал я. – Здорово ж тогда мы засиделись у дочек!» Но это была бабушка девочек, старуха Харлушкина.

Только она появилась, как пустой дом населился по всем направлениям голосами и изъявлениями задушевности. Медленно следуя через их ряды и делясь с ними какую-то очередную радостью, она вплыла в гостиную с туго замотанною в шаль головой. От нее пахло миндальным мылом. Она как-то вкусно отдувалась. Я сразу понял, что она из бани.

– С легким паром, Нимфодора Пеоновна, – сказал я ей, подходя к ручке из своего прикрытия, и густо покраснел, так это глупо получилось.

– Ну тебя совсем, как напугал! – сказала она, тряхнув пухлою ладошкой в перчатке, и продолжала: – А я правда из маскарада. Ну, спасибо. Это что, что с легким, ты скажи – с последним. Во всем мне счастье, на все легкая рука. Еду, ничего не знаю, приезжаю – и что же? Завтра не топят, понедельник – трудный день, а во вторник станут бани, забастовка. Я последний пар захватила, честное слово! Что же ты стала как пень, неси в спальню, – сказала она молодой горничной с такою же закутанной в платок головой, которая вошла в гостиную с саквояжем на одной руке и пустым тазом с мочалкою под другою. – Что на свете творится, баррикады, как в Париже, ты подумай! А я с мыльным подарком и на санях прокатилась. Эх, сбавить бы мне десяток-полтора, – я двух не требую, – я б вам показала. Все мать твою вспоминаю, покойницу. Немного не дожила, порадовалась бы, бедняжка. Правда восторжествовала, ты вникни. Это, брат, знаешь ли, не шутка. А вы у вертихвосток наших? Ну ладно. Спущусь потом, или сам ко мне подымись, небось знаешь дорогу.

Этим намекала она на частые мои посещения всякий раз, как мы бывали у девочек. Только ради нее и ходил я сюда. Слушать ее было истинное удовольствие. Выставляя вперед подбородок, она говорила нараспев и несколько в нос, растягивая слова, с чуть замедленными придыханьями и столь же мало заметными ускореньями. При круглоте и дородности была она неподражаемая умница и, что называется, шило, то есть, видя всякую вещь насквозь, сверлом входила в ее обсуждение, сверлом выходя наружу. И неудивительно, что считали ее близкой приятельницей старика Лужницына, всей Москве известного хранителя одного из музеев, а также радикала из славянофилов Татбищина, в свою очередь друживших с Федоровым, Толстым и Соловьевым.

Но не всегда бывала она в таком ударе, как сейчас, когда ее обуревала банная удаль. Любила она и поплакать.

Тогда, откинувшись в кресло и подперши голову рукою, вдруг переходила она со мной на «вы», точно чтя во мне какое-то воспоминанье. Щурясь от приятности, она медленно, с грудными скрипами говорила:

– Ах, Патрик, ваша мать была такая милочка. Она бесподобно пела, ее знали братья Рубинштейны. А Соня, Софья Григорьевна, та просто в ней души не чаяла. Вы скажите вашему Громеке (все второе поколение она презирала, терпя лишь третье, внучатное) – пусть вас когда-нибудь к ней сводит. Перемрет наша гвардия, тогда хватитесь. А главное – это был человек не от мира сего.

При этих словах Нимфодора Пеоновна изящно, углышком платка, точно извлекая из глаз соринку или мушку, утирала слезы, а потом с кряхтеньем, утвердись на ручках кресел, из них поднималась. Достав из комода пачку шелковистых, как карты, фотографий на скользком картоне, она мне их совала, забывая, что мамы среди них не будет, потому что, как сама она мне раз поведала, мама не любила сниматься. Но между этими мужчинами в форме и штатском и красивыми и некрасивыми женщинами были две молочно-сиреневых выцветших карточки, на которых снят был в молодости мой отец.

Глядя на это лицо, полное силы и представительности и в доверчивости как бы готовое улыбнуться, я заключал, что, значит, я целиком в маму, потому что ничего своего я в этих приятных чертах не находил.

Начало прозы 1936 года. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru

– Если бы не этот человек, – продолжала Нимфодора Пеоновна, снова опустившись в кресло, – она бы никогда своего таланта в землю не зарыла. Но она была человек не от мира сего. И у нее были более высокие цели.

И тут в очень общих выражениях, рисовавших мамино самопожертвование, Нимфодора Пеоновна подводила разговор к концу и убирала фотографии, и мама моя, молодая моя мамочка кончалась на моих глазах, не успев родиться, потому что далее следовала история освободительного движения в России, в которой Нимфодора Пеоновна не была сильна.

Отчего так скудны были эти сведения? Это не было случайное забвение. Его обидную дымку я обязательно бы отличил и ни с чем на свете не спутал. Но нет, этой неизвестности не хотелось трогать. На ней лежала печать безмятежности и удовлетьворенья. Очевидно, она была добровольна. Покойная сама хотела остаться в тени и сумела этого добиться. Откуда же могло явиться такое желание?

Не может быть, чтобы она стыдилась своего происхождения. Я этой мысли не допускал. Это слишком расходилось с ее нравственным обликом. С этим не мирились мои чувства.

Вероятно, это был ревнивый характер с повышенными представлениями о душевной красоте и долге, все с меньшим удовлетворением меривший ими свою жизнь. К поре, когда человек начинает управляться привычками и дает санкцию всему, что не в его власти, она попуценью предпочла одиночество. Неизвестно, как это внешне у ней проявилось, но утверждающего одобренья прожитому она не дала: след невольной к нему причастности стерла и на память о себе ничего не оставила, кроме меня, единственного и прямого своего продолженья...

Предсказанья Харлушкиной оправдались. В ту же ночь артиллерия осадилла училище Фидлера на Чистых прудах. Драгуны обстреляли мирную толпу на Тверской. В наших местах и по соседству стали строить баррикады.

Улицы опустели. На них было небезопасно соваться. Бледные ряды зданий в крышах, подъездах и чердаках стояли как отсутствующие, точно пространство отступило от них и повернулось к ним спиной.

Что делалось при этом с воздухом! Это заслуживает особого описания. Весь он, с земли до неба, был приобщен к восстанью и весь, морозный, высокий и безлюдный, вертелся и гудел, как медный волчок, до смерти закруженный выстрелами и взрывами. Они уже не воспринимались раздельно. Оглушенное небо было сплошь пропитано их колебаньем. Слуха достигало другое. Назойливое комариное зуденье, усыпительное чоканье и тихое шелестенье...

Пулей пробило форточку в домашней лаборатории Александра Александровича. Пройдя сквозь стену, она сколупнула кусок штукатурки с потолка в его кабинете. Нас держали взаперти и экономили керосин и дрова, потому что их не запасли и они были на исходе. В эти дни случилось несчастье с Анной Губертовной.

В ноябре, между обеими забастовками, любитель старины Александр Александрович купил где-то по случаю чудовищных размеров гардероб, величиной с екатерининскую выездную колымагу. Человек в пальто, доставивший эту вещь на ломовике, внес ее по частям в зал. Возник вопрос, где ее собирать и ставить. Анна Губертовна была в отчаянье от покупки. Комнаты ломались от мебели. В них негде было повернуться.

Дело было к ночи. Ломовик просил отпустить его. Человеку в пальто не хотелось возвращаться пешком по морозу. Он не торопил Анну Губертовну, но и не снимал пальто. Это ее нервировало.

Второпях, за невозможностью выбрать место получше, решили гардероб временно оставить в зале как самой просторной комнате дома, где он и был в пять минут без шума собран искусником в пальто, который безмолвно затем откланялся, как артист, исполнивший на большом вечере свой коротенький номер. «Смерть это моя, а не шкап», – вздыхала Анна Губертовна, когда проходила мимо него из своей угловушки. Он мозолил всем глаза. Я тоже его возненавидел.

Одиннадцатого вечером, доставая с пыльного его верха какой-то узел с теплыми вещами, Анна Губертовна ступила в темноте на борт выдвинутого ящика, ухватилась

Начало прозы 1936 года. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru за край развершки и, потеряв равновесие, упала, усложнив падение тем, что, балансируя, повернулась вперед всем корпусом. Она так больно расшибла коленку, что в первые минуты лишилась сознания.

Двенадцатого в перестрелке наступило затишье. Пользуясь им, в ближайшей окрестности разыскали и с трудом уговорили прийти врача не по специальности. Хотя он и не установил перелома, но допускал возможность костной трещины и велел прикладывать лед.

С этой вылазки Глафира Никитична явилась победительницей, полная гордого достоинства. Все ее расспрашивали о виденном, но ровням она отвечала неохотно, а в спальне рассказала, что Скотники и прилегающие переулки перегорожены пустыми баррикатами. Народ с них ушел и засел в Верхнем Копытниковском, но к ночи фабричные беспрерывно спустятся и устроят страженье на площади.

Александр Александрович посылал ее за льдом и просил не утомлять больной таким вздором, потому что члены боевых дружин не такие дураки, чтобы укрепляться в яме, по которой можно стрелять отовсюду сверху. Глаша обижалась и надувала губы. Нас на несколько минут выпустили во двор.

Состояние, царившее на нем, в обычное время называется тишиной. Однако в те минуты оно казалось лишенным имени и необъяснимым. Воздух, который столько дней подряд дырявили плеточные щелчки выстрелов, поражал нетронутостью и благодаря заре и сумеркам был румян и гладок, как кожа у девушки.

В этой тишине и раздался вдруг негромкий разговор, слышный от слова до слова. Ерофей, старый наш дворник, завел его, может быть, нарочно для нас. Он беседовал с Мухрыгиным за углом дома, в воротном проходе. Край стены скрывал их от нас.

– В трицу веровать не диво, – говорил Ерофей, – так уж люди рождаются. Да ино вещь делом, ино языком. Эли запущать поглыбже, так сейчас встrelись семик и антисемик, какие за весну народного освобождения, а какому наплевать. И верно про тебя господа сказали – антисемик, как ты хоша и богомольный, ну выходишь супротивник семика. Жисти ты настоящей не знаешь, живешь без проветру в каменном помещенье, как мокрая склизь или какая-нибудь древесная губа, и тута и кашель твой, и табак, и запой, а дворник завсегда находящий на вольном воздухе, и от этого польза уму и грудям.

Среди ночи я проснулся.

– Вставай, мы горим! – кричала в дверь Тоня, одеваясь.

– Тише, дом подымешь. Это костры. У нас отходники качают. Слышишь, какая вонь?

И я тотчас захрапел, но через несколько минут снова проснулся.

Весь дом был на ногах. Внизу хлопали дверьми. Стрельба в городе возобновилась с неиспытанной силой. Верно, это были пушки. Тоня, растолкавшая меня на этот раз, стояла надо мной одевшись.

– Выйди на минуту, – сказал я ей.

Накинув одеяло, я вскочил на подоконник и распахнул форточку. Меня обдало прежним зловоньем, но раз ощутив его, я больше не стал его слышать. Его очистила дикая тревога, исходившая от зрелища.

Небо лопалось и дышало огнем и гулом орудий. Его опоясывали зарева нескольких пожаров. Один поыхал где-то поблизости. Неразличимые голоса сталкивались в темноте, бежали друг за другом, друг друга обгоняя. Кто-то кого-то звал, куда-то посылал, что-то приказывал. Срывая дома с оснований, по переулку проскакала кавалерия. Языки пламени дернулись в ту сторону. Все смолкло.

Я не заметил, как оделся. Вверх по лестнице прогремели шаги Александра Александровича. С никогда не слыханной зычностью он звал нас вниз со средней площадки.

Услышав наш ответ и еще раз в нем уверясь, он с грохотом сбежал с лестницы.

Начало прозы 1936 года. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
Мы собрались в столовой все в верхнем, чтобы быть наготове, если придется идти из дому. Суконные гардины на окнах задернули пола за полу, свечку на обеденном столе заставили стойком поставленной книгой.

Анна Губертовна в накинутаой на плечи ротонде лежала на диване, закатив по своей привычке глаза под опущенные веки. Из-под ресниц просвечивали полоски белков. Тоня бросилась целовать ее. Покусывая губы, она высвободила руку из ротонды и, кривясь от слез, стала с прерывистым шепотом крестить себя, и дочку, и стены собравшей нас столовой.

Вдруг в дверь заглянул бледный, как смерть, Ерофей и позвал Александра Александровича. Оба были слишком озабоченны, чтобы заниматься мною. Пользуясь замешательством, я выбежал за ними.

Каждое утро выходил я отсюда при огне, на исходе синей зимней ночи. По гимназической привычке показалось мне, что светает. С улицы стучали в ворота. Они трещали. Их высаживали силой.

– Сбегать бы на парадное, посмотреть – кто, отпирать ли.

Не успел Александр Александрович договорить, как во двор вбежало человек пять-шесть вооруженных, кто в ватном пальто, кто в полушубке.

– Кто хозяин? – спросила порт-артурская косматая папаха.

– Я, – отвечал Александр Александрович.

– Можно спрятаться?

– О, конечно! Прячьтесь, господа. Можно в сарай. Можно в дом. Ерофей, ключи! Впрочем, уж не знаю, как... В доме больные...

Дружинники переглянулись. Десятник в папаче, а за ним и другие стали осматриваться.

– Что за забором? – спросил десятник.

– Глухой соседский сад.

– А сзади?

– Пустырь со свалками.

– А дальше?

– Система переулков с выходом на Долгоруковскую.

– Прятаться не будем? – полувопросом, полуутвердительно предложил старший.

– Нет, – отвечали остальные. – Двор невелик и стоять не велит.

Все рассмеялись.

– Правильно. Айда, товарищи, – сказал старший, и все бросились к забору.

– Лестницу, Ерофей! – крикнул Александр Александрович.

Но все до одного уже были по ту сторону.

Прошло несколько минут.

– А мороз-то злющий, – сказал Александр Александрович и зевнул.

– Как есть злющий. Так точно.

– Ты, Ерофей, смотри. Длинный у тебя язык.

– Что вы? Глыбше могилы... Лестницу прикажете убрать?

Начало прозы 1936 года. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru

– Да. Давай вместе снесем. Фу-ты, следов сколько, затоптать бы.

Этим и занялись, когда заперли в сарай лестницу.

– Заходи от забора. Опять ты задом, дуралей! – кричал Александр Александрович. – Я ведь тебе сказал как, а ты все норовишь по-своему. Надо, чтобы от нас шли следы, а не к нам.

В это время переулочек огласился тем же топотом, что я слышал, проснувшись. По легкости разбега отряд должен был пролететь дальше. Вдруг он остановился. Лошадей осадили у нашего дома. Они стали, скользя и разъезжаясь.

Послышался шум прыжков, шаги и бряцанье. Ерофей спрятался за сараем. Александр Александрович вбежал на крыльцо и стал в дверной коробке. На середку двора, освещенную заревом, вышли несколько спешенных казаков.

Ремни и винтовки за плечами кургузили их. Все казались окривевшими от водки, мороза и недосыпу. Им было скользко в сапогах. Кавалерийская походка их сутулила.

– Дубровин, пятерых к забору! – орал хорунжий. – Онисименко, я сказал – дворника! Ах, вот он, каналья! Кому служишь, мать твою в пята? Приказ градоначальника знаешь? Отчего ворота расстегашкой? Отчего, я спрашиваю, ворота, – хлясь, хлясь, – я тебя научу, – хлясь, хлясь, – отвечать, вихлозадый черт. Иметь наблюдение. Очухается – допрошу. Ничего не понимаю, рапортуй толком, Дубровин. Следы? Какие следы? А, следы на снегу!

Тут он оглянулся и забыл об ефрейторе. Он отскочил в сторону и выхватил револьвер.

– Застрелю! Ни с места! – закричал он. – Подымите руки! Кто вы такой, милостивый государь?

– За что вы дворника бьете? – тихо, с дрожью в голосе спросил Александр Александрович.

– Прошу меня не учить. После девяти запрещено выходить на улицу. На каком основании вы здесь и кто вы сами?

– Я владелец дома и должен вам сообщить что-то важное. Но вперед велите обыскать меня. Я не могу отвечать под дулом револьвера. У меня затекают руки.

– Фамилия?

– Громеко.

– Не слышал. Так вы хозяин? Тем хуже. Вас придется привлечь к ответственности по всей строгости закона. Вы приказ градоначальника читали? А знаете ли вы, в каком виде у вас наружные ворота? Вот видите. Ну нельзя же так, нельзя же так, молодой человек. Вы только рот раскрыли, и ваше первое слово – дворник. А знаете ли вы его? Готовы ли за него поручиться? Да и только ли это? Отчего в доме не спят? На душе неспокойно? Это курьезно. Отчего же у вас неспокойно на душе? Ну хорошо-с. Оружие есть?

– Нету.

– Вы дворянин?

– Да.

– Можете опустить руки.

– Мерси, – машинально пробормотал Александр Александрович и, спускаясь со ступеньки на ступеньку, сошел с крыльца на землю. – В доме спали, – начал он. – Ворота были на запоре. Вдруг переполох. Бужу дворника. На дворе несколько вооруженных. Рабочие.

Начало прозы 1936 года. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
– Какие это рабочие? Надо называть вещи своими именами. Это воры, висельники, хамово племя.

– Ну да. Несколько этих... висельников. – Александр Александрович замялся. – Вижу, они с Долгоруковской пробрались соседними владеньями и рубят ворота, пробиваясь в переулок. Удивляюсь, как вы с ними не столкнулись. Это было назад минут пять, десять. Значит, они кинулись в Скотники.

– А скажите, оттуда эти дни не постреливали? С соседних садов. Не замечали?

– Нет. Там все спокойно.

– Так-с, так-с. Вы ответите, если это неправда. Вольно, Дубровин. Ты докладывал – следы. Пойдем, покажи. До свиданья, милостивый государь. Помните, чем вы рискуете. Я охраны не выставлю, но вас везде найти сумею.

Они удалились. В темной глубине двора раздалось слова команды. Было слышно, как построились казаки и стройно, стройнее, чем входили, вышли на улицу. Отряду скомандовали в седла. Лошадей тронули и с нескольких шагов перешли в галоп. Беспамятный скак, слышанный мною ночью и как раз возле нас так страшно пресекавшийся, возобновился с прежней гладкостью и стал стихать и замер. Все скрылось, как прерванное сновиденье.

На крыльце стояли Глаша с Тоней и дергали меня за рукав.

– Сейчас. Отвяжитесь, – отмахивался я, но уже сам все им рассказывал.

Но Александр Александрович не мог вымолвить ни слова. Невольное унижение не давало ему покоя. У него дрожали губы. Он что-то с трудом в себе перевозмогал.

Как только отряд тронулся, он подошел к Ерофею. Но тот и сам поднялся без труда. Обморок его был наполовину притворен. У него слегка подбит был глаз, и на скуле кровавилась небольшая ссадинка с содранной кожей. Нас отправили по кроватям, и, странно, мы тотчас заснули.

Я встал поздно. Занавеска, как в варенье, вымокала в гранатовом соку заката. Спросонья мне показалось, что весна. Со двора неслись влажные, чавкающие звуки. Проваливаясь в мокрый снег, по нему что-то тащили. Была оттепель. Убирали остатки ночного обстрела. И по-прежнему воняло тепло и тошнотворно.

Я все вспомнил. Но в такой час вставал я впервые. Это чувство было ново. Оно затмевало ночные воспоминанья. Знакомство с ним так мне понравилось, что я решил искать случая встать еще раз в такое время.

У Анны Губертовны обнаружили воспаление коленного сустава. Она плохо спала и стонала ночами. Если бы я устерег такую минуту и спустился к ней за сиделку, я заработал бы это право. Но я эти возможности безбожно просыпал.

Я не помню, каким для этого воспользовался предлогом. Восстанье кончилось. Все полно было сознанием его крушенья и слухами о расправе. Рассказывали об изуверстве семеновцев и наглости уличных казачьих пикетов. Начались выезды военно-полевых судов.

Александр Александрович ходил сам не свой. Сверх общих огорчений его удручало состояние больной. Чтобы сделать ей приятное, он в первый выход в город, когда открыли магазины, купил ей синих и белых гиацинтов, несколько кустов цинерарий и три горшка лакфиоля. Когда вслед за остальными цветами лакфиоль внесли в спальню, она раскапризничалась. Оказалось, лакфиоля она не любит. Непамятливость мужа ее обидела. Лакфиоль поставили в столовой.

Я проснулся в шестом часу вечера. Как и в первый раз, неведомо как без меня прошедший день был весь позади. Пока я одевался, сгущался сумрак, похожий на облако дорожной пыли, поднятой его отбытием. С непобедимой грустью смотрел я на бордовый глазок заката, как на кондукторский фонарь в хвосте отошедшего поезда. И так же болела голова.

Я спустился в столовую. Там спиной ко мне стояла Глафира Никитична, чем-то занятая. Она только что полила цветы и расправляла подвернутые края лиловой

Начало прозы 1936 года. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru обертки. Я спросил чаю. «Сейчас», – ответила она, наблюдая, как натекает вода в поддонники, чтобы подтереть, если перельется.

Из спальни от Анны Губертовны вышла массажистка. Ей должны были сегодня отказать. Вчера новый доктор пришел в ужас, узнав, что целую неделю материю разгоняли по всему телу. Глафира Никитична пошла провожать ее.

В это время позвонили с улицы. «Ну вот. Теперь она про чай забудет...» – подумал я и подошел к горке с лакфиолем.

Вдруг в гостиную рядом вихрем ворвался дядя Федя. По каким-то признакам я узнал его. Он нервно прошелся по коврам из угла в угол. Александр Александрович вышел к нему. Разговаривая, они вошли в столовую.

Дядя Федя был в страшном возбуждении. Слова рвались из него с такой силой, что он заплевывал бороду и мычал, утирая губы платком, чтобы не потерять ни минуты в безгласности.

– Ты знаешь, Саша, как я люблю тебя, – говорил он. – Но вы чудовищные люди. Кажется, свет перевернись, а вы будете развлекаться массажами и возделывать комнатные растения. Приготовься к самому страшному. Где сестра твоя Оля?

– Если ты что-нибудь знаешь, то говори прямо.

– Нет, вперед ты. Вспомнил ли ты ее хоть раз? Догадался ли подумать?

– Я разыскиваю ее третий день. И пока – безрезультатно. Но это в порядке вещей и меня не смущает. Потому что, согласишься, на другой день после подавления при нынешних условиях отыскать ее – это, понимаешь ли, не лапоть сплесть.

– Лапти! Условья! Не то ищешь! Не там ищешь! Тело надо!.. В приемных покоях!.. В анатомическом...

Но Александр Александрович уже держал его за руку выше кисти.

– Остановись! – крикнул он. – Что с ней?

– Она убита.

– Откуда ты знаешь?

– Чувство подсказало.

– Но... ты его проверил?

– Я был два раза у общих знакомых. О ней ни слуху ни духу.

– Свинья же ты после этого, типун тебе на язык! Спасибо за сведенье и... участие... Все равно, с дубу ли, с ветру ль, лишь бы шум и эффект. Во сне ли там приснилось или под шелудьями завелось, он тут как тут. «Чувство подсказало».

– Постой, Саша, не горячись. В таком случае что же... Я не жалею, что пришел. Я рад. Ты меня успокоил. Мне сообщила твоя вера.

– И это в такое время, когда я буквально изнемогаю... Нюта хворает...

– А, это коленка? Бог даст, обойдется.

– Ну конечно. В особенности твоими молитвами. К сожалению, я естественник. Существо и опасность септических процессов мне известны... И вместо того, чтобы помочь мне, когда я буквально разрываюсь...

Его напоили чаем. Он сходил в спальню проведать больную. Потом стал прощаться. Уходя, он сказал:

– Я догадываюсь, зачем у вас цветы. Но никакими тут кактусами и рододендронами не поможешь. Не заглушают. Перешибает смрад. Откуда такое?

Начало прозы 1936 года. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
– Это двенадцатого ночью у Жогловых снарядом колодец разворотило. Выгребной, ты понимаешь?

Через два дня Ольга Васильевна отыскалась.

б. Дом с галереями

Надо описать нашу последнюю встречу. Александр Александрович взял меня с собой. Мы наняли извозчика. Никогда в жизни нас не везли так далеко и долго. Это было у черта на куличках, где-то в другом конце Москвы.

Положение об усиленной охране еще не было снято. Пока мы ехали нашими краями, нам попадались следы недавних разрушений.

На углу Расторгуева переулка показывали насквозь прогоревший дом с провалившимися полами и обрушившейся лестницей. От нее оставались одни перила. Скрутившись от жара, они висели в воздухе мотками железного серпантина.

Несколько дальше стоял трехэтажный дом с выдававшимися над тротуаром углами верхних этажей. Дому недоставало ворот. По стенам чернели четырехугольные следы сорванных вывесок. Из земли торчали круги спиленных телеграфных столбов. Видно, здесь залегали дружинники, и я вспомнил. На одной из баррикад, рассказывали, смерть следовала за смертью от таинственных выстрелов без видимого противника, пока не догадались выследить их происхождение.

Их производили из такого же, как эти каменные выступы, фонаря. В квартире жил скотопромышленник, член союза Михаила Архангела. Стрелял его сын, новопроизведенный прапорщик. Обоих отвели в революционный штаб, помещавшийся где-то поблизости. Может быть, здесь это все и происходило.

Два раза попались нам казачьи разъезды, патрулировавшие по городу.

– То-то осмелели, – сказал извозчик и смолк.

Александр Александрович ничего не ответил.

У въезда в Леонтьевский солдаты в поисках оружия с головы до ног охлопывали прохожих, а выезд из Газетного преграждали конные жандармы, и лошади под ними ходили боком, скача от тротуаров к середине мостовой между идущими и едущими. Тут и там нас пропустили не глядя.

Дозоры и заставы возобновлялись у вокзалов. Остановившись по требованию жандарма, подскакавшего на лошади, мы подслушали разговор между четою в соседних санях и другим конным, их остановившим.

– Не задерживайте извозчика. Мы опоздаем к поезду, – возмущалась дама. – Покажи им паспорт, что за наказанье...

– Вы за границу? – спросил жандарм, нагибаясь с седла и зажигая спичку за спичкой.

Мы тронулись дальше. Но и их пропустили. Оглянувшись, я увидел, как их извозчик стоя нахлестывал к Николаевскому.

– Какая же с этих вокзалов «заграница»? – изумился я.

– Сколько угодно, – отвечал Александр Александрович. – Во-первых, Финляндия. Морем из Петербурга. Кроме того, через Тосно или Режицу. А с Ярославского – так даже и в Америку.

Наконец мы приехали. Я потом таких домов больше не видел. Скользящая лестница с сильным капустным кваском пролегла крытою холодною галереей. На нее выходили окна и двери квартир, по три, по четыре на ярус. К наружной стене жались кладовки и нужники. Первые были под висячими замками, вторые с деревянными заворотками на гвоздиках.

Начало прозы 1936 года. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru

Квартира за требующимся номером оказалась в третьем этаже налево. На медной, ввинченной в протесьменную клеенку дощечке без дальнего значилось «Вязлова» и больше ничего: ни буквенных инициалов, ни звания.

Я знал, что в квартире помещаются частные курсы, на которых готовят во все классы гимназии, в юнкерские училища и прочая, и удивился, что снаружи нет об этом объявления.

Не найдя звонка, Александр Александрович стал дубасить в дверь кулаком, но удары получались слабые. Их глушили войлочные подушки обивки.

Невдалеке стояла кадка с питьевой водой под немного сдвинутой крышкой. Вода была, наверное, на самом дне, а нутро кадки стягивал лед в несколько пустых, насквозь проломанных пластов. На краю верхнего, с лучеобразно раскачивающимися трещинами, стояла цинковая кружка.

Наконец нам отперли. Сухая старушка с часиками на черном шнурке молча пропустила нас вперед, ни о чем не спрашивая. Потом я узнал, что это сама Вязлова.

– Виноват, – сказал Александр Александрович. – Мы к Левицкой. Если не ошибаюсь, она у вас. Как к ней пройти?

К концу его слов Вязлова очутилась у него под самым подбородком.

– Пожалуйте. Она отдыхает, – сказала она, подняв голову и снизу заглядывая ему в глаза.

Из темной передней, куда мы за ней последовали, мне представилось зрелище, по тихой выразительности похожее на писаную картину. Громеко с Вязловой прошли дальше, я же остановился как вкопанный.

Передо мною было три комнаты. В средней, наверное, занимались. Дверь в нее была закрыта. Из нее доносились голоса, сменявшиеся в порядке, не похожем на разумную беседу.

В обеих боковых горели висячие лампы, и вполголоса, чтобы не помешать занимающимся, сидя и стоя переговаривались бедно и скромно одетые люди. Разговоры были не общие. Их вели парами и по трое по разным углам. Потом я узнал, что большинство – учащиеся других групп, дожидавшиеся очереди в среднюю комнату.

В квартире стоял тяжкий, настоянный на нужде и стесненье, кроватно-тюфячный запах. Вдруг я ощутил зуд в висках. Потом за ушами. Скоро у меня зачесалось запястье. Здесь было много клопов.

В комнате слева народу было меньше. С помощью комода и умывальника, скрытых откидным пологом, в ней отгорожен был угол. В проеме полога, как у входа в палатку, стоял угрюмого вида молодой человек. На нем была грубая рубашка с шитым воротом. Косясь за драпировку, он кого-то слушал. Судя по взглядам, которые он бросал за плечо, товарищ его лежал, не отпуская его от себя и в чем-то урезонивая. Молодой человек закашлялся, махнул на товарища рукой и вышел из-за полога в комнату. Мужская рука сунулась за ним вдогонку, но не поймала. Он пересек комнату и чуть не столкнулся со мной в дверях.

Справа вышла Вязлова. Она подошла к нему вплотную.

– Скоро вам, Нелль? – сказала она. – Митя кончает. Сейчас телеграфисты меня чуть до хрипоты не довели. Уверяют, будто при округе требуются сложные проценты. Точно я сейчас родилась и никогда программ не видала, а я любую назубок скажу. Например, в кадетских...

– Дайте мне ячменного сахару, и ну вас к черту с вашими корпусами, – сказал молодой человек и закашлялся.

– Как вы переменялись, – вздохнула Вязлова. – С тех пор, как вы повернулись к Леле спиной...

Начало прозы 1936 года. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
– Мамочка, какие выражения. Ноги меня не держат, ей-богу, так вы меня пронзили. Вон Петька валяется, если у вас язык чешется. Это почва благодарней.

Вязлова пожалала плечами и отвернулась. Тут она меня заметила.

– Ах, вот он, малютка! – воскликнула она, впадая в тот же насмешливый тон. – А мы думали, вы в пути затерялись. Что же вы в передней топчетесь, юный классик? Ступайте за мной, там ваши старшие.

Миновав правую боковую комнату, мы вошли в крошечную спальню.

Комната освещалась с потолка цветным фонарем. Александр Александрович сидел в темноте. Золотистый свет падал решетчатым кружком на Олино лицо и платье. Она поражала худобой, лихорадочной говорливостью и утомительностью поз, которые принимала, лежа на незастланной кровати.

– Как, и Патрик тут? Что ж ты мне, Саша, не сказал? – упрекнула она Громеко и, соскочив с постели, меня расцеловала.

Наступило молчание. Продолжению разговора мешало присутствие Вязловой. Когда она вышла, Оля его возобновила.

– Накануне вечером Фидлер, директор, при мне просит к телефону генерала Руднева. Ради бога, говорит, что вы делаете, ведь это дети, это просто безбожно. Потому что половина были его ученики, реалисты старших классов. Ты себе представляешь, Сашенька, волнение? Там такая мраморная лестница с золотыми досками медалистов. Типичный институтский вестибюль. Ее забаррикадировали скамьями и классными досками. Так и провели всю ночь. На рассвете нам дают слово, что сдавшихся не тронут, и мы всей ватагой из училища. Но это обещал ротмистр осаждавшей части, кажется, Рахманинов или Рахманов. А тем временем, как мы в Мыльников, из Машкова откуда ни возьмись другая. Рахманов кричит – стой-стой, потому что он поручился честью, ему стыдно, а тем хоть кол теши на голове, и ну рубить. Господи, твоя воля, что тут сделалось! Кругом темным-темно, на уме одно – поскорей бы в подворотню, а рядом валяются, у кого ухо отсечено, кому отхватили пальцы. А крики... А стоны... Ротмистр, кричу, так вот оно, ваше честное слово? А что он может сделать, когда его не слушают... Но ведь перед тем, что дальше было, Фидлер – капля в море.

Она спустила ноги с кровати и рассеянно это повторила. По звуку ее голоса я догадался, что она думает о чем-то другом и каждую минуту может расплакаться. Она привстала и прошлась по комнате. На каждом шагу она на что-нибудь натыкалась. От круженья на одном месте юбка стала хлестать ее по ногам. Вдруг она остановилась и закрыла глаза. Содроганье прошло по ней, точно ее знобило.

– Нет, нет и нет, – сказала она, словно очнувшись от сна, – вон из этого клоповника. Завтра же куда-нибудь перееду. Посадят – подумаешь, какая важность. По крайней мере хоть выплыву. У вас не искали?

– Нет покамест.

– А в Спасопесковский наведывались.

– Да купи ты себе, дура ты этакая, персидского порошку и будешь спать как убитая.

Снова наступило молчание. Александр Александрович посмотрел на часы и, крикнув, стал подыматься.

– Ты куда это? – встрепелась Оля. – И не думай. С семи до девяти перерыв, можно будет уединиться. Оставляйтесь, прошу вас. Петя тоже не спит. Хочешь, я позову его. Вы с ним еще не видались? Послушай, будь с ним повнимательней, у него ужасное горе. Мы от него скрываем, но он догадывается. По Казанской прошла карательная экспедиция, ты слышал? Волосы встают дыбом, какие душегубства. А в Люберцах у него родные.

Оля не выдержала и, упав лицом в подушки, зарыдала. Прошло несколько минут. Послышался храп со свистящими переливами. Мы переглянулись. Оля спала, разинув рот, ничком и наискось поперек кровати.

Начало прозы 1936 года. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru

Как мы провели следующие час или полтора, не помню. В их исходе мы очутились в комнате рядом с той самой, что располагалась вправо от меня, пока я был в передней.

Ученики разошлись. Наступил перерыв, о котором говорила Оля. За столом сидело человек пять-шесть народу – сын Вязловой Дмитрий Дмитриевич, студент-путеец; желчный молодой человек Анемподист Дудоров; Петр Терентьев, которого я видел впервые, да еще два-три студента университета. Нас перезнакомили.

– Сперва все шло хорошо, – рассказывал Терентьев. – У полиции хлопот по горло. Их еще не хватились. Но только добираются до деревни, мужички их чуть ли не в колья. Вот вы как, говорят. Фабрику у себя сожгли, нас пришли бунтовать? И грозятся собрать сход. Еле унесли ноги.

– Ничего удивительного. Это в порядке вещей, – сказал Дудоров.

Все на него накнулись.

– Что ты рисуешься? – возмутился Вязлов. – Объясни ты мне, пожалуйста, эту бессмыслицу. Ты совсем не то, чем прикидываешься. Никуда ты из Москвы не выезжал, видели тебя на баррикадах. Тогда к чему ломанье?

– Глупости. Не могли меня видеть, я под Муромом охотился. Это какой-нибудь двойник.

После долгих споров он признался, что не устоял против искушения и действительно дрался в районе Мещанских, но особняком и только за свой страх.

Тут я узнал, что он из княжеского рода Дудоровых, несмотря на молодость, отбыл три года административной ссылки, но теперь отошел от привычного круга и к теоретическому марксизму охладел совершенно. С родными он давно порвал и жил бедно и одиноко, принятый обратно в университет по чьей-то сильной протекции. Он что-то переводил и пописывал, но еще без того имени, которое составил себе позднее, а сюда ходил преподавать языки и историю, выслушивать нападки бывших товарищей и на них огрызаться. Здесь не могли ему в особенности простить разрыва с одной девушкой этого круга.

Терентьев развивал две излюбленные мысли. Что по своей молодости пролетариат у нас еще неотделим от крестьянства и что индустриальный рабочий является носителем новой, грядущей культуры. В защиту этой мысли приводил он следующие соображения. Природа и законы природы для современной интеллигенции – две разные вещи. Первое – предмет праздного любования, второе – пища для сухого и бесстрастного изучения. Для рабочего же это одно. Он и за формулами не забывает того, что это законы именно природы, а не чего-нибудь другого, той самой производящей земной природы, которая в грубом упрощении есть его родная деревня, но на этот раз в ее всеобщности, с целую подлунную, во вселенском, так сказать, ее размахе. Потому что физические устои мира открываются ему за работой, в той первичности, как его бабке сроки и особенности коровьего отела. Для этой мысли находил он свои слова, смелые и яркие. Но вдруг профессиональная дидактика завладевала им, и, забывая про то дорогое, живущее и меняющееся, что было в этой мысли, он терял ее нить и принимался за доказательство доказанного и вытверживание общеизвестного. Делал он это книжно, по-заученному и совсем не к месту, потому что кругом на этом собаку съели и повторять это в этой компании было все равно что яйцам учить курицу.

– Всмотримся пристально в процесс, – говорил он, – что мы имеем. В ходе обнищания деревни крестьянский сын прощается с домом и в геометрической прогрессии отликает в города. Погодите, Варвара Ивановна. С другой стороны, в потребности рабочих рук промышленность все щедрее и щедрее черпает из этого резервуара. Но обратимся к нашему бездомному скитальцу, где мы его оставили, что мы увидим? В ходе развития промышленности приставленный к котлам, охладительным змеевикам и аккумуляторам, он мало-помалу подымется по железной лестнице на такую площадку, где с него с неизбежностью спросят начатки механики, знание электричества и бойкое, не сходя с места, умозаключение. Знакомство с машиной откроет перед ним заветные страницы физики. Вот вы говорите, природа. Это, грубо говоря, молоко, грибы и ягоды в березовой роще, летний отдых в тенистой усадьбе. А потом вы говорите, законы природы. Это, грубо говоря, тихие своды

Начало прозы 1936 года. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru университета, приборы, зимние теоретические выкладки. А он и над магнитным полем гнется, как над паровым перед распашкой под озимь. Потому что для него это одно...

Тут и следовала мысль, которую он выражал так самостоятельно и не избито. Дальше возвращались очевидности.

– Теперь последуем, однако, за ним по этой лесенке, где мы его оставили, и посмотрим вниз через перила, что мы увидим? Дамы-благотворительницы между собой стараются, как бы елку ему устроить и общество трезвости, и дай им волю – первой грамоте будут учить или, чего доброго, соску купят или погремушку. Но вот он руки об паклю, а потом об блузу – и с этой лесенки прямо к ним вниз. Вот хомут и дуга, больше я вам не слуга.

– Да ты меня не агитируй, – говорил Дудоров. – Торжества революции я жду нетерпеливей всех вас. Сто лет как ее у нас готовят. Лучшие силы России ушли на эту подготовку, и в нравственном плане она даже уже будто когда-то была. Однако платонизм тут не уместен. Ее надо увидеть своими глазами. Еще лет десять оттяжки, и мы задохнемся. Погоди улыбаться. И, конечно, она придет. На первых порах это будет именно то, о чем мы так много говорим. Освобождение от самодержавия, от уродств капиталистической эксплуатации. Но придет наконец и настоящая свобода. Освободится время, отданное несколькими поколениями ей, ее обсуждению, жизни и гибели за нее, освободятся мысли и силы. А согласись, за свои вековые жертвы Россия это заслужила... Только ли огорошивать ей и ошарашивать. А вдруг дано ей выдумать что-нибудь непредвосхитимо неприятное, просиять, улыбнуться...

Его перебили в самом интересном месте. С галереи позвонили. «Звонок, – сказал Вязлов. – Петька, мотай на ус, потом ответим». И вышел отпирать. Вернувшись, он наклонился сзади к Терентьеву и шепнул ему что-то на ухо. Оба посмотрели на Дудорова и вышли. Тот тоже поднялся, смутился и в нерешительности затоптался на месте.

– Оставайтесь тут, – приказала Вязлова. – Они у Мити переговорают. Незачем вам встречаться.

Минут через пятнадцать послышались шаги и голоса у самого входа в столовую, но, минуя ее, удалились через переднюю и кухню наружу.

В столовую быстро вошел Терентьев. Он сиял и спешил к Оле.

– Митя провожать пошел, Варвара Ивановна, – сказал он на ходу.

В эту минуту сама Оля вышла из спальни, красная и заспанная. Она взглянула на его глаза и губы и как бы прочла новость, рвавшуюся с его языка.

– Леля Осипович? – воскликнула она и сделала такое движение, точно собиралась вцепиться в ответ руками.

– Да. Большая радость. Папаша и все домашние живы, здоровы и невредимы. Она прямо от них, минутой раньше сама расспросила. Папаша, – продолжал он, обращаясь ко всем и в особенности к Александру Александровичу, – оказывается, об нас расстраивались. Этим и избыли беду. А то ведь там... язык прилипает, что было... И попадись он им под горячую руку... не знаю, чем от мысли зачураться. Но они еще раньше расстроились. Мамашу с сестрой спрятали в матушкиной семье, Бронницкий уезд, дальняя волость. А сами пешком в Москву за справками. Оттого и дом пустой, ни души, а мы-то напугались.

Оля слушала и смотрела на него. Он кончил и все сиял.

Какая-то радость, еще одна, была у него про запас для нее, тайная, неизрасходованная. И вот, забыв правила не то что конспирации, а просто-напросто благоразумия (чтобы не сказать – приличия), Оля на минуту задумалась...

– Паспорта принесли? – с тем же движением вскричала она, и все поднялись, замахали на нее и зашикали.

– Ну что ты с ней поделаешь, – сказал Терентьев, по-прежнему обращаясь к

Начало прозы 1936 года. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
Александр Александровичу.

1936

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://pasternakboris.ru/> Приятного чтения!
<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы,
недвижимость. Здоровый образ жизни.
<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет
магазин обуви Интернет магазин
<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных
сайтов. Интеграция, Хостинг.
<http://filosoff.org/> Философия, философы мира, философские течения. Биография
<http://dostoevskiyfyodor.ru/>
сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!